



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дмитрий Травин

Англия: история успеха
(Россия Нового времени:
выбор варианта
модернизации. Доклад 1)

Препринт М-67/18

Центр исследований
модернизации



Санкт-Петербург
2018

УДК 327(470)

ББК 63.4

Т 65

Т 65 Травин Д.

Англия: история успеха (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 1) / Дмитрий Травин : Препринт М-67/18. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — 76 с. — (Серия препринтов; М-67/18; Центр исследований модернизации).

В XVII–XVIII веках Россия как периферийная европейская страна вынуждена была модернизироваться, заимствуя зарубежные институты. В цикле, состоящем из трех докладов, рассматривается вопрос о том, какие образцы для развития могла «предоставить» нашей стране Европа в Новое время и что в конечном счете определяло выбор стоящей на распутье России. Первый доклад цикла посвящен истории успеха Англии. В нем анализируется проблема длительного формирования институтов, способствовавших промышленной революции. Рассматриваются вопросы о том, была ли Англия динамично модернизовавшейся страной со времен Великой хартии вольностей, какое воздействие на английское развитие оказал голландский пример, как повлияло Просвещение на индустриализацию, как изменились институты под воздействием социальных революций и что, собственно говоря, мог обнаружить Петр I, посетив Англию в конце XVII века.

Информация об авторе: Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб); dtravin61@mail.ru.

Привет тебе, твердыня Реформации,
О родина свободы, — он вскричал, —
Где пытки фантастических гонений
Не возмущают мирных поколений!
Здесь честны жены, граждане равны,
Налоги платят каждый по желанью;
Здесь покупают вещь любой цены
Для подтверждения благосостоянья;
Здесь путники всегда защищены
От нападений...» Но его внимание
Блеснувший нож и громкий крик привлек:
«Ни с места, падаль! Жизнь иль кошелек!

Джордж Гордон Байрон «Дон Жуан»
[Байрон 1981, с. 407].

Буквально в нескольких строках гению Байрона удалось невероятным образом передать и философию догоняющей модернизации, выраженную словами Дон Жуана, прибывшего из отстающего, клерикального государства в государство передовое, и мифологию английской национальной мысли, превозносящей свою страну как уникальный случай идеального общества, и быстрое разочарование, постигшее путника при переходе от мифологии к реальности. В реальной Англии не было многого из того, о чем твердили мифы. Тем не менее при всем трезвом отношении к этой стране значение ее многочисленных успехов не следует преуменьшать. Долгое время Англия заслуженно привлекала внимание всего мира. За сто с лишним лет до Дон Жуана на нее обратил внимание и русский царь.

Отправившись путешествовать по Европе в составе «Великого посольства», молодой Петр I огромное внимание уделил голландскому и английскому опыту. Его интересовали страны, добившиеся к концу XVII века феноменальных успехов в развитии как экономики в целом, так и судостроения в частности. Петр провел много времени, изучая хозяйственную систему Голландии. Он не только самолично плотничал, но и осматривал, как отмечал голландский историк, «масляную, пыльную

и бумажную мельницы, а также канатную и парусную фабрики, наконец, железные и компасные мастерские. Повсюду он проявлял необыкновенную любознательность, которую часто не могли удовлетворить познания тех, к кому он обращался с расспросами» [цит. по Мавродин 1988, с. 46]. Аналогичным образом царь вел себя и в Англии. «В Лондоне он посетил Тауэр, арсенал в Вулвиче, Монетный двор и Королевское общество. Всюду музеи, кунсткамеры, фабрики и даже театры привлекали его внимание и вызывали непрерывные вопросы» [Андерсон 1997, с. 68]. Петр впитывал в себя зарубежный опыт, стараясь, по всей видимости, понять, как работают механизмы, обеспечивающие развитие.

Но вот загадка! В последующие четверть с лишним века, отведенных ему судьбой на правление, царь мало что перенял для своей страны из голландских и английских институтов. Технические заимствования инкорпорировались в совершенно иную систему правил игры — с крепостничеством и жесткой административной иерархией, не допускающей свобод. «Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками, — говорил Петр Брюсу и Остерману. — Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Англинская вольность здесь не у места, как к стенке горох. Надлежит знать народ, как оным управлять» [цит. по Анисимов 1989, с. 60–61].

Можно ли объяснить это лишь тем, что царь был тираном в душе и не стремился к свободам? Или же тем, что сама Россия к «англинским вольностям» была не готова? А может быть, Петр, несмотря на свое любопытство, просто плохо осмыслил то, что увидел за рубежом? Проще говоря, возникает вопрос: как нам трактовать тот факт, что восхищение институтами двух самых передовых в экономическом плане стран Европы, куда Петр, к счастью, сумел попасть еще в молодые годы, несколько не способствовало заимствованию этих институтов Россией? Чтобы разобраться в этой загадке, нам следует предпринять длительный экскурс в английскую историю с небольшим заходом еще и в историю голландскую.

Что за вольности давала Великая хартия вольностей?

Англия, бесспорно, добилась больших успехов в XVIII веке. Именно в этой стране произошла промышленная революция. Именно эта страна стала настоящей мастерской мира. Именно эта страна первой смогла

конвертировать политические свободы в рост благосостояния. При попытке проанализировать причины английского успеха возникает большой соблазн обнаружить корни свобод в седой древности или, по крайней мере, в зрелом Средневековье.

Конечно же, трудно всерьез рассматривать истоки британской борьбы с авторитарными силами в институтах времен легендарного короля Артура [Бурова 2001, с. 67–72], хотя круглый стол, за которым сидели рыцари, демонстрируя свое равноправие, романтики выдают иногда за ранний признак английской демократии. Но вот принятие в 1215 г. Великой хартии вольностей и постепенное формирование парламента на протяжении XIII столетия — это настоящие исторические факты, а не легенды. И многим кажется, что именно Magna Carta радикальнейшим образом переломила ход истории. Полагают, что англичане рано стали свободным народом, и это яркое достижение эпохи Средневековья обусловило их феноменальный промышленный успех в условиях Нового времени. Например, прусский юрист и политик XIX века Рудольф Гнейст, отыскивая причины, по которым государственные учреждения Англии оказались столь эффективны и, следовательно, соблазнительны для континентальных стран, отмечал, что Хартия «все еще служит истинным основанием английской свободы. Все достигнутое позднее составляет немногим более простого подтверждения, комментария к ней» [Гнейст 1885, с. 276].

Еще более категоричен был в своих оценках английский историк XIX века Джон Ричард Грин, отмечавший, что «зачатки английской конституции можно проследить до времени первого появления англосаксов в Британии» [Грин 2018, с. 176]. Роль этих «зачатков» автор, правда, не переоценивает, но зато про Magna Carta, хранящуюся в Британском музее, пишет уже как про документ, непосредственно влияющий на современность: «Невозможно смотреть без почтения на древнейший памятник английской вольности, который мы можем видеть своими глазами и осязать своими руками и на который патриоты последующих веков смотрели как на основу английской свободы» [там же, с. 133]. Наконец, о государственных установлениях времен короля Эдуарда I Грин пишет как о полностью сложившейся системе институтов и правовых норм, после утверждения которой всякое развитие было уже не столь значимым: «Долгая борьба за само существование конституции пришла к концу. Последующие пререкания уже не затрагивают, подобно предыдущим, общего строя политических учреждений; это просто ступени той стройной школы, которая приучила и еще учит англичан. <...> С царствования

Эдуарда мы, в сущности, стоим лицом к лицу с новой Англией. Король, лорды, общины, высшие суды, формы управления, местные деления, провинциальные суды, отношения церкви и государства, вообще остов целого общества — все это приняло ту форму, которая, в сущности, сохраняется и до сих пор» [там же, с. 177].

По сей день встречается чересчур восторженное отношение к Великой хартии вольности. Особенно это проявилось в связи с недавним восьмисотлетием ее появления. Некоторые комментаторы в торжественных речах отмечали, например, что Magna Carta означает предпочтение англичанами права, а не тирании, эволюции, а не революции [Cater 2015, p. 9], хотя даже школьный обзор английской истории показывает наличие в отдельные времена и тираний, и революций.

Мифологизация этого исторического документа проистекает не только из трудов отдельных историков и публицистов, но также поддерживается порой государством. Например, на фризе, опоясывающем по всем четырем сторонам зал в Верховном суде США, король Иоанн, подписавший Magna Carta, изображен в числе выдающихся законодателей прошлого, таких как Моисей, Хаммурапи, Ликург, Солон, Конфуций, Августин, Мухаммед, Юстиниан и др. [Linebaugh 2008, p. 205, 209]. И это притом что совершенствовать законодательство монарх явно не собирался: подписание было с его стороны не добровольным актом, а вынужденным¹.

Великая хартия вольностей и впрямь является важнейшим документом, во многом определившим ход истории. Но вот незадача. В 1222 г., т. е. семь лет спустя после его появления в Англии, чрезвычайно похожий документ — Золотая булла — возник в Венгрии [Контлер 2002, с. 94]. Однако эту страну мы не считаем наряду с Англией ни колыбелью европейской демократии, ни образцом промышленного развития. Венгрия представляет собой типичный пример догоняющей модернизации, причем она даже далеко не первой устремилась в погоню за лидером. Демократию и рынок Венгрия в полной мере обрела лишь в начале XXI века. Да и то при правлении нынешнего премьер-министра Виктора Орбана она часто становилась объектом критики за некоторый отход от магистрального европейского пути.

¹ Если бы авторы фриза хотели снабдить изображение характеристикой, взятой у современников, то, наверное, пришлось бы написать: «Как ни гнусен ад, но и его запятнало появление гнусного Иоанна» [Грин 2018, с. 127].

С английским парламентом возникает еще более странная картина. Он ведь вовсе не был первым европейским институтом представительного правления. Скажем, в Леоне — небольшом пиренейском государстве — кортесы (местный парламент) с представительством горожан возникли заметно раньше, чем в Англии, — уже в конце XII века. Потом Леон объединился с Кастилией (произошло это в 1230 г.), и новое королевство постепенно стало превращаться в основу будущего испанского государства. Едиными стали в середине XIII века и кортесы [Пискорский 2012 с. 1–2]. Так может, Испания представляет собой колыбель европейского парламентаризма? Ни в коей мере. Демократию и рынок эта страна обрела лишь в последней четверти XX века — после смерти генералиссимуса Франсиско Франко.

Наконец, если мы взглянем на общую картину демократизации европейских стран, то обнаружим, что такая страна, как Польша, долго двигавшаяся по пути ограничения прав монарха и развития парламентаризма, отнюдь не преуспела в сложном деле модернизации. В 1374 г. король предоставил сословиям целый комплекс различных прав (Кошицкие привилегии), напоминающих права, полученные за полтора столетия до этого англичанами и венграми. Но к XVIII веку страна оказалась весьма слабой экономически и совершенно незащищенной от агрессии соседей по причине отсутствия боеспособной армии. В свободолюбивой Польше так же царил крепостное право, как и в деспотической России. Велика была дифференциация реальных политических прав между богатыми магнатами и мелкой шляхтой, представители которой зачастую сами пахали землю и находились в патрон-клиентской зависимости от влиятельных лиц, нуждавшихся в их саблях для битв и голосах для заседаний Сейма [Тымовский, Кеневич, Хольцер 2004, с. 106–107, 171–172, 186–188, 194–208; Дыбковская, Жарын, Жарын 1995, с. 52–53, 130–132].

Более того, если мы взглянем непосредственно на английские достижения, то неизбежно зададимся вопросом: почему устоявшиеся к началу XIV века замечательные английские институты обернулись серьезным экономическим успехом лишь примерно через полтысячелетия? Может быть, даже в английских институтах что-то было не так? Может, хороший текст, написанный на бумаге, еще не определяет реальный характер функционирования институтов? И может быть, эти институты являются следствием сложного сочетания писаных и неписаных норм, которые каждый политический актер трактовал по-своему на протяжении столетий?

Во всех трех рассмотренных случаях — с Венгрией, с Польшей и с Испанией — долгий, чрезвычайно извилистый исторический путь существенно обесценил первые достижения демократии. Если мы, памятуя о том, что сам по себе факт хартии ничего еще не означает для развития страны, взглянем на историю России, то обнаружим и у нас весьма любопытный документ. «Поволил я, царь и великий князь всея Руси, целовать крест на том: что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с боярами своими, смерти не предать, вотчин, дворов и животов у братья его, у жен и детей не отнимать, если они с ним в мысли не были; также у гостей и торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и детей дворов, лавок и животов не отнимать, если они с ними в этой вине невиновны. <...> Целую крест всем православным христианам, что мне, их жалую, судить истинным, праведным судом и без вины ни на ком опалы своей не класть, и недругам никого в неправде не подавать, и всякого насильства оберегать» [Соловьев 1989, с. 446–447]².

Ну чем не Magna Carta? Удерживает нас от признания этого документа Великой русской хартией вольностей лишь то, что мы хорошо знаем, кто ее народу дал. Это сделал Василий Шуйский в 1606 г. Про царя Василия сразу можно сказать, что государь он был несерьезный, кратковременный и слабый, а потому на ход российской истории его обещания никак не повлияли. Однако в свете того, что говорилось выше, мы можем сказать также, что хартии вольностей и ранний парламентаризм не способствовали успешному развитию в целом ряде европейских стран. И лишь Англия выделяется на этом фоне в лучшую сторону, причем не столько благодаря каким-то особым свойствам Хартии, сколько потому, что впоследствии в силу причин, о которых пойдет речь дальше, исторический путь этой страны оказался благоприятен для развития экономики и демократии. В общем, с одной стороны у нас оказывается Англия как страна особая, с другой — континентальная Европа, с Золотой буллой, Кошицкими привилегиями и «Шуйской хартией вольностей».

Василий Ключевский написал в свое время про своего тезку, что «все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безо-

² Михаил Покровский полагал даже, что юридически (не фактически) боярство и раньше располагало привилегией, согласно которой вотчину отнимать у него было нельзя, а теперь защищенность собственности (также лишь юридически) распространялась на кулечество [Покровский 2010, с. 97].

пасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общих оснований государственного порядка» [Ключевский 1988, с. 35]. Magna Carta как документ, значительно более подробный, этих оснований касался. Но в истории России был зато другой известный нам документ, касавшийся «общих оснований», — договор Михаила Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом от 4 августа 1610 г. По оценке Ключевского, «это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных» [там же, с. 42]. Современный историк Александр Янов отмечает даже, что конституция Салтыкова появилась тогда, когда ни во Франции, ни в Германии конституциями еще и не пахло [Янов 2008, с. 44].

Стандартное возражение на любое восторженное отношение к русской истории выглядит следующим образом: так ведь и «шуйская хартия», и «салтыковская конституция» провалились. Все верно. Но вот как историк Джеймс Холт начинает свою книгу о Великой хартии вольностей: «В 1215 г. Magna Carta провалилась. С ее помощью намеревались добиться мира, но спровоцировали войну. Она претендовала на то, чтобы установить обычное право, но породила споры и раздоры. Она реально действовала не более трех месяцев, но даже в это время ее условия должным образом не выполнялись» [Holt 1992, p. 1]. И дальше автор, подчеркивая роль мифологизации документа и придания ему в последующие эпохи тех значений, которых не могло быть у людей в 1215 г. [Ibid., p. 9], анализирует, что же реально имело место в истории и какова истинная роль Magna Carta.

Создатели Великой хартии вольностей не столько являлись авангардом борьбы за демократию будущего, сколько феодальным арьергардом, стремившимся удержать монархию от пренебрежения «исконными правами народа». Монархия же полагала, что именно у нее есть «исконные права, полученные от Бога», тогда как народ святотатственно стремится их узурпировать, пренебрегая спущенной человечеству свыше божественной системой мироустройства. И так обстояло дело практически в любой европейской стране, не исключая даже Московии [Травин 2014].

История появления Хартии проста и чрезвычайно цинична. Там не было никакой борьбы за великие идеи. Там просто была борьба за деньги. Король Иоанн хотел увеличить объем доступных ему финансовых ресурсов для того, чтобы успешнее воевать на континенте с французским королем Филиппом II Августом. В связи с этим он стал откровенно грабить своих подданных, которые раньше не думали ни о какой демократии, спокойно наслаждаясь имевшимися у них доходами.

«До чего доходил Иоанн Безземельный в своем издевательстве над правом и законом в отношении к феодалам, — писал русский историк Дмитрий Петрушевский, — покажут несколько взятых наудачу фактов. В 1201 г. король собрал баронов в Портсмуте, чтобы переправиться с ними на континент, но вместо того, чтобы вести их за море, отобрал у них деньги, взятые ими на военные издержки, а самих отправил по домам. В следующем году бароны двинулись с королем в Нормандию, но увидели, что он и не думает вступать в сражение с неприятелем; в сильнейшем негодовании они вернулись домой, а король наложил на них за это огромный штраф в размере седьмой части их движимости. В 1205 г. король с большим войском отправился во Францию, но вдруг повернул назад и, вернувшись домой, взял с графов, баронов, рыцарей и духовенства “несметную сумму денег” под тем предлогом, будто они не захотели с ним идти за море добывать утраченное им наследие» [Петрушевский 2016, с. 42]. Впоследствии король Иоанн конфисковал все церковные владения, что резко настроило против него как местных священнослужителей, так и Римский престол [там же, с. 43–44]³.

В конце концов дело дошло до того, что в очередной раз при попытке «раскрутить их на бабки» бароны отказали королю. Переговоры ни к чему не привели, и оппозиция стала готовиться к тому, чтобы твердо отстаивать свои права в любой ситуации [там же, с. 48]. В 1215 г. дело завершилось открытым противостоянием. Монарх уступил, и вынужден был подписать Хартию. Magna Carta оказалась документом, в котором основное внимание уделялось не вопросу о власти, а вопросу о деньгах, собственности и личных свободах, т. е. тому, что король не имеет права делать в отношении церкви и баронов [там же, с. 56–57]. Точно таким же оказался, кстати, и венгерский документ — Золотая булла, определивший права знати по отношению к монарху, но отнюдь не утвердивший демократию [Контлер 2002, с. 95].

Естественно, в таких условиях борьба между монархом и влиятельными группами интересов не могла прекратиться с появлением Хартии. Наоборот, формальное наделение правами двух конфликтующих сторон стимулировало каждую из них продолжать бороться за «перетягивание одеяла на себя». Король требовал денег, общество умеряло его пыл как

³ Мы не можем, естественно, знать, считал ли себя Иоанн при этом грабителем, но вполне возможно, король пребывал в уверенности, что брать в свою пользу имущество — это древнее право английской монархии. Ведь Вильгельм Завоеватель начал свое правление именно с радикального передела земли [Грин 2018, с. 88].

могло. И так продолжалось в течение всех Средних веков [Штокмар 2005, с. 66–68]. Более того, подобные сложные взаимоотношения сохранялись в Англии (не говоря уж о Венгрии, Испании и Польше) и в Новое время. «Одеяло» в зависимости от конкретного соотношения сил монарха и общества сдвигалось то в одну сторону, то в другую. И если король вдруг резко укреплял свои позиции, никакая Хартия не могла остановить произвола.

Генрих III — сын Иоанна — был столь беден и так влез в долги из-за своей политической слабости, что публично заявлял: «милосерднее дать ему денег, чем нищему, стоящему на паперти с протянутой рукой» [цит. по Кулишер 1926а, с. 238]. Но через триста лет Генрих VIII вел себя совсем иначе: «В стране нет ни одного человека, — сказал он как-то раз, — чью голову я не заставил бы слететь, если моей воле посмеют противоречить» [цит. по Черчилль 2006, с. 32].

При этом юридические трактовки данной проблемы были неопределенными. С одной стороны, монарх объявлялся фигурой, стоящей в силу своего происхождения над законом, но с другой — если он все же закон нарушал, то мог быть объявлен тираном, поскольку истинный государь так поступить не может [Травин 2014, с. 13–18].

Даже непосредственно в преддверии Славной революции вопрос о пределах власти английского монарха и свободах его подданных не был решен однозначно. Об этом свидетельствует, например, такой важный документ эпохи, как «Два трактата о правлении» Джона Локка, написанный в 1680-е гг.

В первом трактате Локк полемизирует с влиятельным автором Робертом Филмером и приводит целый ряд его высказываний в пользу абсолютной монархии, не считающейся ни с какими заданными обществом нормативными ограничителями: «В монархическом государстве властитель по необходимости должен быть выше законов», «Совершенное королевство то, в котором король правит всем в соответствии со своей волей», «Ни обычные, ни писанные законы не служат и не могут служить каким-либо уменьшением той общей власти, которой обладает король над своим народом по праву отцовства» [цит. по Локк 2014, с. 20]. Все это сказано, как видим, так, будто никакой Великой хартии вольностей не существует. И Локк, обобщая мысль Филмера, доводит ее до логического завершения, отмечая, что при таком подходе «отец или монарх обладает абсолютной, деспотической, неограниченной и не поддающейся ограничению властью над жизнью, свободой и имуществом своих детей или подданных, так что он может захватить или ото-

брать у них имущество, продать, кастрировать или вообще использовать их, как ему заблагорассудится, поскольку все они — его рабы, а он — господин и владетель всего и его неограниченная воля — закон для них» [там же, с. 21].

Но, может быть, точка зрения Филмера была маргинальной и не отражала позиции значительной части общества? Мы ведь не можем сегодня провести опрос людей, живших более трехсот лет назад, и узнать, кто из них что думал. Тем не менее трудно считать позицию абсолютиста невлиятельной. Вряд ли Локк обрушился бы тогда на него с таким упорством, целиком посвятив разбору взглядов Филмера свой Первый трактат. Более того, вряд ли Локк был бы вообще признан столь крупным и влиятельным мыслителем эпохи, если бы писал о частных схоластических вопросах, а не о тех проблемах, которые стояли в обществе на повестке дня. Magna Carta за четыре с половиной столетия так и не разрешила вопрос о том, являются ли подданные рабами монарха, поскольку в таком виде его не ставила. Задачи Хартии были сравнительно локальными и соответствовали эпохе, ее породившей.

Если в современном правовом государстве существует система разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), но при этом они совместно управляют обществом, уважая друг друга, то Хартия консервировала традиционный механизм, при котором король управляет государством, церковь решает дела духовные, а бароны хозяйничают на собственных землях и никто не имеет права вмешиваться в чужую компетенцию. Все автономны. Король воюет на свои средства и привлекает помощь баронов (например, взимает налог — «щитовые деньги») лишь в строго оговоренных Хартией условиях, т. е. с санкции общего Совета королевства [Петрушевский 2016, с. 57–58]. А общество, со своей стороны, не может претендовать на социальную помощь государства, как это принято сегодня. Монарх защищает страну от врага, но голод, пожары, эпидемии и тому подобные бедствия каждый переносит в одиночку. Помрет так помрет. Все в воле Господней.

Заложенные в Magna Carta условия предопределили то, что в дальнейшем должен был неизбежно встать вопрос о формировании Совета, который будет регулировать спорные отношения короля, баронов и церкви. Появление подписанной конфликтующими сторонами бумаги ни в коей мере не означало автоматического формирования новой ментальности, при которой все уважают право и не стремятся его нарушить. Ментальность осталась старой, хищнической. Монарх, естественно, не хотел честно выполнять условия Хартии. Если сила была на его стороне,

он вновь стремился наложить лапу на чужие деньги в целях усиления своего военного могущества. Последняя такая попытка была предпринята Карлом I Стюартом в XVII веке, т. е. четыре столетия спустя после принятия Magna Carta.

Но к тому времени в Англии уже почти четыре столетия существовал парламент, и он смог дать отпор королю. Именно парламент стал тем Советом, о котором шла речь в Хартии. Трудно переоценить его роль в постепенном формировании новых цивилизованных английских институтов. Однако парламент не был все это время органом законодательной власти, как принято в системе разделения властей. Он был органом словесного представительства, защищавшим общество от монарха.

На практике парламент оказался прежде всего «местом для дискуссий», для переговоров, для споров между обществом и монархом о том, сколько конкретно средств надо выделять короне для выполнения ею оборонительных функций. Естественно, такой парламент не мог оставаться лишь органом, представляющим высшие сословия. Если бы развитие общества представляло собой только борьбу классов, как утверждает марксизм, король с баронами должны были бы монополизировать власть, отстраняя горожан. Но развитие предполагало и решение совместных государственных задач всеми сословиями.

Поскольку бремя расходов на оборону должны были нести не только бароны, но и города, бюргерам тоже нашлось место в парламенте. И чем более богатыми становились города, чем большую роль они играли в экономике и в формировании бюджета, тем большую роль должны были играть горожане в системе словесного представительства. Тем не менее никакого пропорционального представительства в средневековом парламенте не было. Горожан стали приглашать туда только после 1297 г., причем при Эдуарде I представленные в парламенте города составляли лишь 63 % от всех городов Англии. По сути дела, звали лишь тех, кто имел какое-то торгово-промышленное значение. Депутаты не всегда выбирались. Они могли просто назначаться из числа богатых купцов и землевладельцев, обычно занимавших одновременно еще и посты в городском самоуправлении [Гутнова 1960, с. 389–390, 396–397, 410]. А назначенцы при этом стремились манкировать своим «священным правом» представительства из-за чего с них даже брали залог, гарантирующий, что в назначенный день «избранник» явится на заседание [Грин 2018, с. 186].

Даже в тюдоровской Англии монарх и его советники занимались так называемой «набивкой» (packing) парламента, способствуя избранию

преданных короне людей, готовых поддерживать все нужные ей законопроекты [Сюами 2016, с. 75]. Иными словами, король не делился своей властью с народом, а лишь обсуждал финансовые проблемы с той его частью, которая имела деньги и могла самостоятельно принимать решения о том, чтобы поделиться ими с казной в интересах государства. Не имевшая же денег часть общества вообще не интересовала английского монарха, поскольку с нее нечего было взять. Нетрудно заметить, что, несмотря на общность терминов (парламент, выборы, представительство), речь идет о качественно иных институтах, чем те, которые существуют сегодня.

Английский парламент эффективно выполнял роль сословного представительства при обсуждении фискальных вопросов. Уже при Эдуарде I в большинстве случаев (хотя и не всегда) налоги взимались после обсуждения с парламентом, причем доля этих платежей в королевской казне составляла 67 %, тогда как доля доходов с домена — лишь 33 %. В начале XIV века фактически все налоги, установленные по королевскому произволу (талья, щитовые деньги), были отменены, хотя до 1340 г. парламент не контролировал таможенные пошлины [Гутнова 1960, с. 425–430].

Совсем по-иному обстояло дело с законотворчеством и контролем за органами центрального управления государством. Всякую попытку парламентариев вмешиваться непосредственно в его управленческие прерогативы король успешно отбивал. А при издании законов этого даже не требовалось. Здесь, как отмечала Евгения Гутнова, имела место «полная безоговорочная поддержка короля, <...> граничившая порой с рабской покорностью» [там же, с. 466]. Иногда монарху подавали петиции, что со временем превратилось фактически в право законодательной инициативы, но в принципе «король имел полную возможность обходиться и без парламента, и без совета магнатов при издании новых законов» [там же, с. 469].

В общем, можно сказать, что отношения королевской власти и органов сословного представительства строились не по современному принципу разделения властей, а по принципу «отдай нам то, что ты должен, и мы будем любить и уважать тебя и служить тебе, как своему сеньору, и оказывать тебе помощь против твоих врагов» [там же, с. 453]. При такой идиллии в отношениях король иногда пользовался парламентской поддержкой для демонстрации стране и миру того, что именно на его стороне находится «общественное мнение». Например, он использовал поддержку депутатов при принятии решения об окончательном захвате

Шотландии, поскольку надо было продемонстрировать единство всех англичан в глазах Франции и Святого престола [там же, с. 496]. Похожим образом поступали и российские правители начиная с XVI века, когда «с помощью соборов правительственная власть снимала с себя в какой-то степени ответственность за проводимые ею мероприятия» [Шмидт 1996, с. 276], до момента присоединения Крыма в 2014 г., когда карт-бланш президенту был предоставлен решением послушного Совета Федерации.

Иногда в связи с формированием английского парламентаризма в XIII веке у некоторых исследователей возникает соблазн считать полностью решенной проблему защиты собственности еще до начала Нового времени. «Средневековая Англия отличалась поразительной институциональной стабильностью, — отмечает, например, Грегори Кларк. — Большинство ее жителей могло не опасаться посягательств ни на свою личность, ни на собственность. Рынки товаров, труда, капитала и даже земли в целом были свободными» [Кларк 2012, с. 213]. Любопытно, что, приходя к столь радикальному выводу, существенно отличающемуся от устоявшегося в науке представления о проблематике защиты собственности в Средневековье, Кларк не приводит никаких фактов в поддержку своей позиции и даже не пытается развить дальше свою мысль.

При этом в исторической литературе существует множество примеров откровенной экспроприации чужой собственности и беззастенчивого грабежа, осуществляемого сильными (в основном монархами и знатью) по отношению к слабым. Эти примеры относятся и к Англии. В частности, можно говорить об абсолютном бесправии евреев (далеко не последних людей в экономике Средневековья), подвергшихся изгнанию из Англии в 1290 г. и в связи с этим фактически потерявших все свое имущество, поскольку его чрезвычайно трудно было продать за хорошие деньги в короткие сроки, отведенные на эмиграцию [Дубнов 1911, с. 60; Травин 2013, с. 45].

В похожем положении регулярно оказывались любые политические противники власти и другие, с ее точки зрения, преступники. Их не просто репрессировали, но еще и подвергали конфискации имущества. То есть сын отвечал за отца: средств к существованию лишался весь род, а не только лица, непосредственно виновные в каких-то проступках. Например, Генрих VII Тюдор издал Акт о государственной измене, направленный против Ричарда III и его сторонников. Там отмечалось, что у них будут конфискованы все замки, поместья, владения, жилища, ренты, службы, пенсии, движимое имущество и многое другое [Хэммонд 2014, с. 229]. Правда, по некоторым данным, 84 % всего имущества,

отнятого у собственников в ходе Войн Роз, было в конечном счете возвращено владельцам [Lander 1974, p. 28]. Но вне зависимости от исхода конкретного противостояния проблема незащищенности собственности сохранялась и через полтораста-двести лет. Например, по статуту 1606 г. (т. е. после реформации) лицо, подозреваемое в католичестве, могло быть оштрафовано или даже лишиться до двух третей своих земель за одно лишь только желание исповедовать веру предков [Савин 2000, с. 173]. Характерно, что даже в период революции 1640-х гг. проигравшая сторона лишалась имущества [там же, с. 368, 371, 474, 515–516], т. е. «победившая буржуазия» не укрепила собственность. «Владение землей не было окончательно защищено от политического манипулирования вплоть до 1660 г.» [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011, с. 194].

А порой король мог прибегнуть к добровольно-принудительному займу денег у богатых лондонцев, как поступал Эдуард IV. Бюргер, к которому обращался за вспомоществованием король, даже не помышлял о том, что долг ему когда-нибудь вернут [Бурова 2001, с. 139]. При Карле I оппозиционера Джона Элиота посадили в тюрьму за отказ подписаться на правительственный заем [Савин 2000, с. 119].

Наезды на собственность в Англии шли не только сверху «по вертикали», но и «по горизонтали». Среди землевладельцев распространен был захват спорных участков силой. Хотя обычно дело доходило до суда, процесс мог длиться практически бесконечно, и все это время захватчик собирал ренту. Причем суд часто бывал коррумпирован: он подтверждал право собственности богатого землевладельца, имевшего возможность проплатить решение, а также того, кто был связан с судьей родственными или дружескими отношениями. Но даже такие судебные разбирательства касались только земли. Движимое имущество, оставшееся после смерти собственника, доставалось тому «наследнику», который первым успел им завладеть: как говорится, кто смел — тот и съел [Браун 2016, с. 62, 93–94, 99]⁴. Государство пыталось в какой-то мере бороться с этим беспределом в XV–XVI веках, но безуспешно [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011, с. 183].

В известной степени можно говорить о том, что значение Великой хартии вольностей и раннего английского парламентаризма было мифо-

⁴ Вполне возможно, что в Англии дела обстояли все же несколько лучше, чем на континенте. Косвенным свидетельством этого являются сравнительно низкие затраты на городские укрепления [Gillingham 2001, p. 16–18]. Бюргерство не сильно опасалось проникновения бандитов в города.

логизировано в последующие эпохи для того, чтобы продемонстрировать обществу, будто свободомыслие, борьба за права простого человека и неподчинение народа деспотии представляют собой важнейший элемент британской традиции. Ведь утверждать определенные институты часто оказывается легче в ситуации, когда общество полагает, будто они являются не внезапным порождением реформаторской мысли, а старой доброй традицией, от которой недостойные правители почему-то в какой-то момент отошли и которую надо вернуть для возвращения старых добрых времен.

«С незапамятных времен, — отмечал историк Николас Хеншелл, — парламентские свободы были краеугольным камнем уникальной культуры английского народа. Они, вероятно, действительно существовали, но почти с уверенностью можно сказать, что на протяжении пятисот лет они были главной составляющей национальной мифологии. В XV веке Фортеस्कью⁵ впервые сделал их предметом национальной гордости, отличавшим англичан от жителей континента. В XIV веке финансовая необходимость заставляла многих европейских государей создавать сословные представительства, которые могли объединить страну и одобрить введение налогов. Фортеस्कью дал своим соотечественникам совершенно неоправданный повод для гордости, сообщив им, что парламенты — явление исключительно английское. Это ложное представление всегда оставалось популярным» [Хеншелл 2003, с. 120].

Сильно укрепилось мифологическое представление о Magna Carta «в XVII веке, в преддверии Гражданской войны в Англии, когда династия Стюартов все больше злоупотребляла своими королевскими правами, а ее противники, представители юридического сословия и низшего дворянства в Палате общин, настаивали на подчинении короны общему закону Англии» [Данцигер, Гиллингем 2009, с. 310]. Так, например, судья и парламентарий Эдвард Кок «вопреки изначальному смыслу документа сделал Великую хартию одним из оснований неписаной Британской конституции Нового времени, т. е. документом, подтверждающим фундаментальные

⁵ «Джон Фортеस्कью, сначала адвокат, потом судья, наконец (с 1460 г.) канцлер королевства при Генрихе VI, отправился в последнее в изгнание после захвата английского престола Ланкастерской династией в лице Эдуарда IV. <...> В изгнании, где Фортеस्कью, между прочим, сделался наставником старшего сына Генриха VI, он хорошо познакомился с состоянием Франции под королевским управлением <...> и это только укрепило его в том убеждении, что на земле нет выше порядков, как те, которые установились на его родине. Последняя мысль и легла в основу его знаменитого сочинения “Похвала английским законам”» [Кареев 2015, с. 213–214].

неотчуждаемые права не только баронов, рыцарей или церкви, но и всех подданных Английского королевства» [Полдников 2016, с. 224]. Одна из проблем эпохи состояла в том, что в XVI–XVII веках власти для усиления регулирования экономики все чаще стремились вторгаться в дома мастеровых, служившие им не только жильем, но и производственным помещением. В этой ситуации Кок использовал Magna Carta для того, чтобы придать новое значение старому феодальному принципу. Именно он заявил, что дом англичанина — это его крепость [Hill 1991, p. 237].

В XVIII веке английские политики — наследники Славной революции — стремились подчеркнуть, что свергнутый король Яков II был экстремистом и поплатился за это по праву. Соответственно, показать экстремизм Якова можно было, только утверждая, что Славная революция защищала древнюю конституцию [Пинкус 2017, с. 34–35].

Современный итальянский историк Лучано Канфора отмечал роль мифотворчества в формировании английского самосознания применительно к более поздним эпохам. Он говорил о необходимости «освободиться от неизбывной англоманской риторики, представляющей Англию как геометрический центр и преимущественное пребывание вечной свободы, действующей в этой благословенной стране, начиная с Magna Carta Libertatum (1215) и без перерыва вплоть до наших времен; свободы, которая изливается на англичан беспрепятственно (невзирая на две революции и обезглавливание короля, не говоря уже о не столь уж кратком периоде республиканской диктатуры), в то время как остальной континент безумствует, особенно после Французской революции. “Размышления” Бёрка о событиях во Франции, так же как в области художественной литературы злополучная книга Диккенса “Повесть о двух городах” (1859), способствовали поддержанию этого клише» [Канфора 2012, с. 154–155]. В годы Французской революции британцы даже подчеркивали принципиальные различия двух народов, опираясь именно на Великую хартию. На одной из карикатур той эпохи британская свобода изображена как респектабельная дама, символизирующая правосудие и держащая в руке Magna Carta. А свобода французская представлена в виде фурии с головой Горгоны Медузы, с пикой, на которую насажена отрубленная голова, и с окровавленным кинжалом [Полдников 2016, с. 227].

В общем, можно сказать, что ссылки на Magna Carta и парламент — это не решение проблемы причин английского успеха, а, скорее, постановка вопроса. Они сыграли свою важную роль, но вот в чем эта роль состояла, как и когда она сказалась, а также какие другие факторы воздействовали на события, нам необходимо выяснить.

Русский историк Николай Кареев сказал про французские Генеральные Штаты, что главным результатом их деятельности в XV веке стало создание постоянных налогов и постоянной армии, опираясь на которые «королевская власть мало-помалу и сделалась абсолютной» [Кареев 2015, с. 245]. Такая же логика развития сословного представительства была свойственна России и Испании: если парламенты помогали королю вооружаться для защиты своей страны, то со временем сами становились жертвами усилившейся монархической власти. Важный вопрос состоит в том, почему в Англии эта естественная логика не сработала?

Земские соборы — сословное представительство или вульгарная имитация?

Если мы представляем себе средневековый парламент в виде первого шага к современной демократии, то невольно выстраиваем разные страны Европы в соответствующем иерархическом порядке. Самая старая, прочная и укорененная демократия существует у тех, кто давно обзавелся представительными институтами, а самая слабая — у тех, кто стал развивать парламентаризм не в Средние века, а лишь в Новое время. Подобная иерархия демократий явно противоречит фактам, если мы рисуем общую картину формирования сословного представительства, а не ограничиваемся популярной историей с одним лишь английским парламентом. Испания с Португалией, в частности, несмотря на ранние истоки парламентаризма, смогли преодолеть авторитарные системы лишь во второй половине XX века.

Но если мы исходим из рассмотрения парламента не как одного из элементов в демократической системе разделения властей, а как органа, защищающего сословия от возможных притеснений со стороны короля (но не оспаривающего его божественного права на монархическую власть), то все становится на свои места. Парламенты появляются в Европе лишь по мере возникновения потребности в них. А потребность эта определяется степенью проникновения монарха в жизнь общества и стремления прибрать общественные ресурсы для своих военных целей.

Когда он ведет войну за свой счет, подпитываясь ресурсами с собственного домена, имея небольшую постоянную дружину и собирая вооруженных вассалов в соответствии с феодальным договором по определенным случаям на определенное, строго ограниченное число дней,

никакой потребности в парламенте не существует. Можно сказать, что в этой ситуации не существует государства, нуждающегося в сложных методах управления и, в частности, в разделении властей. Страна сегментирована. В ней почти нет вопросов, которые следовало бы совместно обсуждать представителям каждого сегмента и тем более решать из единого центра. Однако в связи с усложнением стоящих перед государством задач ситуация коренным образом меняется.

Содержание армии становится все дороже по мере появления наемных контингентов и осуществления огнестрельной революции [Травин 2015]. Монарх не может уже успешно вести войну за свой счет и даже не может ограничиться привлечением вассалов. Он нуждается в постоянном сборе налогов со всего общества. Ключевые действия государственной власти монетизируются. Общество принимает на себя обязанность поддерживать государство материально, а то, в свою очередь, обязуется защищать народ от врагов. Защита перестает быть делом отдельного феодала, собирающего за это с крестьян ренту, и становится делом государства, собирающего за это налоги. Причем если феодал раньше мог чисто силовым методом вынудить крестьянина платить ему за защиту без долгих обсуждений, то в масштабах государства такой вариант аккумулирования ресурсов не проходит. Сложная государственная структура требует: во-первых, согласия плательщиков (или их представителей) на финансовую поддержку монарха; во-вторых, определения тех конкретных случаев, в которых поддержка осуществляется; в-третьих, договоренности о том, кто и сколько должен платить. Решить подобные вопросы без органа сословного представительства практически невозможно.

Причем на практике эти институты могут выглядеть очень по-разному в разных обстоятельствах. При одних обстоятельствах государство способно почти навязывать свою волю плательщикам при их слабом сопротивлении. При других же — сопротивление может оказаться очень сильным и государство вынуждено будет прибегнуть к детальной аргументации по поводу того, зачем ему требуются чужие деньги. Зависит это на практике от двух моментов. Во-первых, естественно, от соотношения сил. Если государство способно энергично выколачивать налоги, то согласие общества на несение фискального бремени становится лишь формальным. Во-вторых, от внешнеполитической обстановки. Если государство находится под ударом врагов и население опасается ограбления со стороны оккупантов, стремление плательщиков поддержать монарха и его армию возрастает. Если же сбор налогов осуществляется для

внешнеполитических авантюр и реальной угрозы со стороны врагов нет, монарху значительно труднее убедить сословия раскошелиться.

В России эпоха, когда монархии понадобилось сословное представительство, наступила сравнительно поздно. Армия, независимая от феодальных принципов построения, стала формироваться лишь при Иване III [Травин 2015]. Причем это была поместная армия, для создания которой использовались не столько финансовые ресурсы, сколько земля. Тем не менее потребность в деньгах ощущалась, и уже при Иване Грозном предпринималась попытка поднять налоговое бремя. Именно при Иване Грозном возникают и первые земские соборы, повестка дня которых связана была с военной проблематикой. Сведения, имеющиеся о них, довольно отрывочны, поэтому трудно судить, в какой мере государство обсуждало там с обществом именно вопрос о мобилизации дополнительных ресурсов для ведения боевых действий. Так, например, на соборе 1566 г., собранном в разгар войны с польско-литовским государством, купечество обещало правительству помощь: «А мы молим бога о том, чтобы государева рука была высока: а мы люди не служилые, службы не знаем, ведает бог да государь, не стоим не токмо за свои животы, и мы и головы свои кладем за государя везде, чтобы государева рука везде была высока» [цит. по Черепнин 2015, с. 114]. Вряд ли эти люди «не служилые» клали головы за государя — скорее, давали ему деньги. Но точно это неизвестно.

На соборе высшего духовенства 1580 г. вновь остро стоял вопрос о финансовых ресурсах. Иван Грозный прямо заявил церковным иерархам, что им пора раскошелиться в интересах государства: «Дворянство и народ вопиют к нам со своими жалобами, что вы для поддержания своей иерархии присвоили себе все сокровища страны, торгуете всякого рода товарами, налагаете и берете мыта с проезжих всякого звания людей. Пользуясь привилегиями, вы не платите нашему престолу ни пошлин, ни военных издержек» [там же, с. 122]. Некоторые виды церковных земель были конфискованы [там же, с. 121–122].

На соборе 1584 г. наступление государства на Церковь продолжилось. Было принято решение об отмене церковных и монастырских тарханов (налоговых льгот), поскольку фактически так получалось, что за духовных землевладельцев платили светские (обязанные в армии служить), и это подрывало их материальное положение («многое запустение за воинскими людьми в вотчинах их и в поместьях»), а следовательно, обороноспособность страны [там же, с. 130].

После пресечения династии Рюриковичей в деятельности земских соборов на первый план вышла вместо проблематики финансов и под-

готовки к войне совсем иная проблематика — передача престола. Собор 1598 г. избрал на царство Бориса Годунова. В Смутное время созывались соборы для решения вопроса о власти, хотя сведений о них имеется крайне мало [там же, с. 166]. Кто и по какому принципу отбирался на эти соборы и, соответственно, были ли они хоть сколько-нибудь представительными учреждениями, судить трудно. По-настоящему многолюдным был только собор 1613 г., избравший на царство Михаила Романова [там же, с. 194].

Вопрос о мобилизации финансов, необходимых для построения армии нового типа и о связанных со сбором денег переговорах власти и общества, встал по-настоящему лишь при Романовых, чему способствовал целый ряд обстоятельств. Во-первых, к тому времени зарубежный опыт однозначно показывал преимущества наемных армий над любыми другими формами организации войска (включая поместную). Альтернативы наемникам фактически не имелось. Московское государство это очень остро ощутило во время Ливонской войны при столкновении со Стефаном Баторием, активно использовавшим наемников. Во-вторых, в эпоху Смутного времени полководцем Михаилом Скопиным-Шуйским уже предпринималась попытка использования западных наемников и построения собственного войска, основанного на этом принципе. Так что Романовы должны были лишь продолжить сделанный ранее выбор [Травин 2015]. В-третьих, опыт «народной мобилизации» финансов и организации армии снизу, продемонстрированный в Смуту Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, показал, что общество способно помогать в этих вопросах государству, а значит, с ним имеет смысл договариваться. Таким образом, при Романовых вопрос о Земских соборах встал в полный рост, как и в западных странах.

Сразу после завершения Смуты соборы собирались интенсивно, и каждый год (1614–1618 гг.) с населения взимали пятинные деньги для жалования ратным людям [Черепнин 2015, с. 218, 220, 223, 226, 227]. Поместная система вознаграждения за службу землей работала все хуже. Ратные люди сетовали, что «без жалования де им никак на государеву службу под Смоленск и на Сиверу идти немочно, хотя всем в тюрьме перемереть, а идти немочно, и службу свою отказывают» [там же, с. 232].

Постепенно с помощью налогов, а также добровольных пожертвований (запросных денег) армия окрепла и обзавелась даже иностранными наемниками [Курбатов 2014, с. 158, 192–193, 215]. По мере укрепления власти и армии, а также в связи с некоторой «разрядкой международной

напряженности», потребность в созыве соборов снизилась, и после 1622 г. о них 10 лет ничего не было слышно, но затем по причине войны с поляками их вновь стали собирать [Черепнин 2015, с. 230, 244].

Любопытно, что даже формулировки причин, по которым созывались соборы разных лет, отражают эволюцию реальной роли этого института. Если в 1613 г. собор учреждал новую династию на троне и выборные люди приглашались для земского большого дела «на договор», то в 1616 г. — только «на совет», а в 1619 г. — для осведомления правительства о местных нуждах и подачи челобитий [там же, с. 235].

Тем не менее подобная эволюция не означает, что соборы прекратили влиять на политику, давить на власть и стали лишь жалкими просителями. По всей видимости, ключевым моментом, определявшим их роль, было столкновение различных групп интересов, пытавшихся перевалить друг на друга тяготы финансового бремени, связанного с войной. Следя за возникавшей на соборах полемикой, высшая власть получала косвенным образом информацию о состоянии дел на местах и о скрытых резервах (которую в отсутствие разветвленного бюрократического аппарата, прессы, статистики и опросов населения получить иным способом было невозможно), а также готовила решения, по мере сил учитывавшие реальное положение.

К примеру, на земском соборе 1642 г. обращало на себя внимание выступление нижегородских и муромских дворян и детей боярских, представлявшее собой универсальный донос на всех «жирных котов». «Ведя речь о том, с кого можно было бы требовать ратных людей и денег на военное дело, — отмечал Лев Черепнин, — они прежде всего указывают на бояр и ближних людей, “пожалованных... государским жалованием против их чести” и государевой службы. Затем называются дьяки и подьячие, которые помимо государева жалования разбогатели “многим богатством и неправедным своим мздоимством”, накупили вотчины и построили палаты каменные, “такие, что неудобь-сказемья”. Далее говорится о церковных землевладельцах, о городских дворянах, которые “писались по московскому списку” и “будучи в твоих государевых городах у... государевых дел, отяжелели и обогатили большим богатством”, о дворцовых людях, которые нажили “великие пожитки”, а полковые службы не служат» [там же, с. 268].

Власть ждала от Церкви, что она поделится своими «келейными деньгами» с казной, а от купцов — что они перестанут скрывать доходы от налогообложения [там же, с. 250–251], и подобные доносы на соборах, сталкивающие лбом разные группы интересов, возможно, способ-

ствовали росту платежей в ситуации, когда не имелось иных способов осуществления эффективного фискального администрирования.

Эпоха «соборного парламентаризма» на Руси продлилась недолго — немногим более ста лет, поскольку уже Петр I советоваться с народом перестал. Краткий срок существования данного института может вызвать представление о том, что Соборы на Руси были неким случайным элементом, которым по большому счету вообще можно пренебречь. Особенно если считать исконно присущими нашей стране чертами деспотизм и патримониализм. Однако на самом деле быстрая смерть сословного представительства является признаком не застойного существования Руси, а, напротив, ускорения движения. Если к сословному представительству наша страна перешла с большим отставанием от западных стран (о причинах которого говорилось выше), то к абсолютизму — с гораздо меньшим. И в полном соответствии со сложившейся в абсолютистских государствах практикой Петр представительство ликвидировал. Царь стал вытряхивать из страны деньги, опираясь на бюрократию с армией и не советуясь с теми, кто в новых условиях потерял способность препятствовать концентрации ресурсов в государевой казне. По всей видимости, если бы не петровские реформы, то Соборы дольше сохранялись бы на Руси, но при этом не внедрялись бы те абсолютистские институты, которые в то время считались наиболее эффективными и прогрессивными.

Еще один скептический выпад по адресу Земских соборов — их бессилие и соглашательство. Думается, что размышлять так — значит впадать в анахронизм. Если подходить к этим Соборам по меркам современного парламентаризма, то они, конечно, могут вызвать лишь скепсис. Органы сословного представительства не были похожи на современные парламенты. Они не отнимали власть у царя, не брали на себя функции самостоятельной законотворческой деятельности. Но они делали именно то, что требовалось от них в ту эпоху. Логичнее было бы разграничивать эти институты не на правильные и неправильные, а на сильные и слабые. Скажем, сильными были английский парламент и польский сейм, которые действительно всерьез ограничивали возможность монархов аккумулировать финансовые ресурсы. Слабыми были французские Генеральные штаты и российские Земские соборы. Они исчезли с политической сцены, поскольку сила оказалась на стороне абсолютизма, не нуждавшегося в сословном представительстве. Можно заметить, кстати, что не существует прямой связи между силой парламента и успешным ходом модернизации. Ограничение власти монарха в Англии способствовало развитию страны, тогда как гипертрофированная роль сейма привела к утрате

Польшей способности защищаться и разделу государства между соседями. Абсолютизм во Франции не помешал этой стране быстро устремиться в погоню за Англией в ходе догоняющей модернизации в XIX веке, а вот абсолютизм в России эту догоняющую модернизацию надолго застопорил. Так что развитие на деле зависит от целого ряда факторов, а не от раннего появления органов сословного представительства.

Более того, как справедливо отмечает Михаил Кром, «если уж сравнивать представительные учреждения в разных странах Европы, то ни в коем случае не следует ограничиваться двумя-тремя общеизвестными примерами, вроде английского Парламента, французских Генеральных штатов или польского Сейма. Реальная картина была намного богаче и разнообразнее. На этом фоне московские соборы отнюдь не выглядят каким-то экзотическим явлением, обнаруживая уже на ранней стадии своего развития ряд характерных “familialных” черт. Нет ничего удивительного в том, что соборы в течение примерно полувека ограничивались совещательной функцией: точно так же обстояло дело и с “новорожденными” парламентами, кортесами, штатами и т. д. в других странах (но только в более ранние столетия). <...> Важно также правильно понимать природу представительства в изучаемую эпоху. Избирательная система формировалась медленно и по нашим меркам была весьма далека от идеала. Даже применительно к английскому Парламенту XVI века исследователи говорят не об “элекции” (конкурентных выборах), а о “селекции” — отборе подходящих кандидатов» [Кром 2018, с. 157–158]. Подобные же «подходящие» кандидаты были в XVII веке и в России. Трудно назвать подобную практику неевропейской чертой или проявлением восточного деспотизма.

Зачем овцы съели людей?

Эпоха становления вольностей и парламентаризма в Англии не стала в то же время эпохой экономического развития. «Родина вольностей» в XIII веке была, скорее, «сырьевым придатком» континентальной Европы. Природа острова идеально подходила для разведения овец, и английская сырая шерсть импортировалась для производства тканей. В частности, умелыми фламандскими ткачами.

«Купцы, приезжавшие продавать свои сукна на ярмарках островного королевства, возвращались оттуда с полным грузом шерсти, — отмечал Анри Пиренн. — Они имели в Дувре и в Лондоне склады, в которых скоплялась в период стрижки драгоценная шерсть. Английские крупные

земельные собственники, уверенные в наличии постоянного рынка сбыта, стали развивать в своих поместьях во все большем масштабе овцеводство. Особенно отличались этим цистерцианские аббатства. Шерсть каждого из них была известна и котировалась на брюггском рынке. Пошлины с вывозимой шерсти составляли в XIII веке один из значительнейших источников дохода английской короны. Таким образом, Фландрия и Англия стали необходимы друг другу. Первая не могла обойтись без своей соседки для своей промышленности, а вторая — для своего сельского хозяйства» [Пиренн 2001, с. 220–221].

Купцами этими были в основном либо сами фламандцы, либо гасконцы или итальянцы. Поставки шли не только во Фландрию, но и в Антверпен для нужд брабантской экономики. Поначалу на рынке доминировали фламандцы, которые создали даже специальную торговую ассоциацию — Лондонскую ганзу. «Лондонская ганза монополизировала вывоз сукна и шерсти в течение большей части XIII века, т. е. вплоть до того момента, когда фландрская торговля перестала быть активной торговлей» [там же, с. 221]. Но к концу столетия фламандские купцы сами перестали ездить за шерстью, и инициатива перешла к другим торговцам.

Ими стали, в частности, флорентийцы как обладатели особо крупных капиталов, заработанных на операциях со Святым престолом. Они могли скупать у аббатств настриг шерсти не только за текущий год, но и за годы вперед, что стимулировало продавцов к сотрудничеству. Правда, после того как в 1342 г. английская корона не расплатилась по кредитам флорентийцев Барди и Перуцци (а те, в свою очередь, неудачно попытались с нее хоть что-то получить), шерсть стали продавать не в Италию, а в разные другие места Европы, пытаясь создать там базу для новых займов [Морган 2008, с. 170–171; Лахман 2010, с. 147].

Сами англичане не имели такой квалификации, как фламандцы, но в XIV веке случилось событие, которое, возможно, повлияло на развитие ткацкого ремесла на острове. Крупные фламандские города, такие как Гент и Ипр, часто силой подавляли конкуренцию со стороны мелких соседей — деревень и скромных городков, не давая подняться там собственному производству. Вооруженные отряды ломали ткацкие станки, разбивали чаны валяльщиков и рамы для сушки сукна. Наибольшей активности уничтожение конкурентов достигло в 1340-х гг. После кровавых битв гентцы уничтожили суконную промышленность Термонда, а ипрцы — Поперинга. Многие ремесленники, вынужденные бежать из разрушенных городков, нашли себе прибежище в Англии, что положило начало собственной суконной промышленности этой страны [Пиренн

2001, с. 403–404, 440]⁶. Сырье собственное там уже было, а квалифицированный труд появился из-за конфликтов, разразившихся у соседей.

Впрочем, результатов «импорта технологий» пришлось ждать долго. С середины XIV века экспорт сырой шерсти из Англии стал сокращаться и практически исчез к 1520-м гг., но рост экспорта тканей не шел параллельно этому процессу. Дело в том, что крупнейший европейский экономический кризис, связанный с эпидемией чумы и катастрофическим сокращением населения, нанес сильный удар по торговле и производству большинства стран [Камерон 2001, с. 97–100]. Почти полтора столетия ощущались последствия кризиса, причем в Англии особенно трудно было в 1440–1480 гг. Лишь к концу этого периода имело место восстановление экономики до уровня 1430 гг. А рост экспорта тканей из Англии фиксируется лишь примерно с 1470-х гг. [Hicks 2012, p. 49–50, 263; Holderness 1983, p. 120].

Существует мнение, что формированию английской шерстяной промышленности способствовали протекционистские меры, предпринятые в конце XV века (так называемый «план Тюдоров»). «Король Англии Генрих VII, взойдя на трон в 1485 году, — отмечает Эрик Райнерт, — вырос в Бургундии. Там он обратил внимание, как богата область, занимавшаяся производством шерстяной ткани (графство Фландрия было тогда частью бургундского герцогства. — *Д. Т.*). И шерсть, и химикат для ее очищения (фуллерова земля или силикат алюминия) импортировались из Англии. Когда Генрих вступил во власть своим неумудрым королевством, где производство шерсти было на несколько лет вперед заложено итальянским банкиром, он вспомнил свое детство на континенте. В Бургундии хорошо жили не только производители тканей, но и пекари, прочие ремесленники. Король понял, что Англия занимается не тем, чем надо, и решил сделать из нее производителя тканей, а не экспортера сырья. Генрих VII разработал обширный инструментарий экономической политики. Первым и главным инструментом стали налоги на экспорт, благодаря которым зарубежным производителям тканей невыгоднее доставалась дороже, чем английским. Кроме того, начинающие производители шерстяной ткани на время освобождались от налогов, а также на ограниченный срок получали монополию на торгов-

⁶ Кстати, Англия не была к ним толерантнее Фландрии. Во время восстания Уота Тайлера 160 фламандских ткачей было убито лондонцами, по всей видимости невзлюбившими их как конкурентов в ремесле [Поулсен 1987, с. 55–56]. Мастера погибли, но производственный опыт остался.

лю в определенных географических областях. Для того чтобы привлечь ремесленников и предпринимателей из других стран, особенно из Голландии и Италии, также применялась особая политика. По мере роста английской шерстяной промышленности росли и налоги на экспорт, пока у Англии не появилось достаточно производственных мощностей для того, чтобы обрабатывать всю производимую в стране шерсть» [Райнерт 2017, с. 109–110].

Маловероятно, что именно «план Тюдоров» способствовал развитию английской шерстяной промышленности. Во-первых, как показано выше, рост экспорта начался еще до восшествия Генриха VII на престол. А во-вторых, не вполне ясно, как вообще можно было реализовать столь сложные меры государственного регулирования в XV–XVI веках при отсутствии современной бюрократии (которой, собственно, и положено контролировать уплату вывозных пошлин), да к тому же сразу после страшных Войн Роз, разрушивших все королевство. Если даже сегодня (как знаем мы по российскому опыту) таможня является неэффективным и коррумпированным органом, то трудно представить, каким образом Тюдоры справлялись с проблемой ухода от уплаты налога за счет взяток контролерам или вывоза шерсти морем в обход контролируемых портов. Во всяком случае, известно, что в конце XVIII века (через три столетия после «плана Тюдоров») ограничения на вывоз сырой шерсти порождали контрабандный экспорт в тот момент, когда внутренний рынок оказывался перенасыщен и выгоднее было продавать сырье за рубежом [Манту 1937, с. 58].

Надо сказать, что Генрих VII был не первым и не последним королем, попытавшимся проводить промышленную политику. Эдуард III еще в 1336 г. запрещал вывоз шерсти и ввоз готовых сукон для поощрения шерстяной промышленности. Пиренн считал, что эти меры были успешны. Однако он же отмечал, что уже в 1338 г. (два года спустя!) протекционистские меры были отменены и фламандцы получили право на свободную торговлю как на своей территории, так и на территории Англии [Пиренн 2001, с. 425–432]. Трудно объяснить этот коренной поворот в политике внезапно проснувшейся добротой английского короля по отношению к Фландрии и столь же внезапным исчезновением интереса к поддержке собственной экономики. Скорее, все же Эдуард убедился в том, что его курс был не слишком эффективен.

Почти через три столетия после Эдуарда попробовал применять протекционистские меры Яков I. Были они не столь уж жесткими. Король в 1614 г. запретил вывоз из Англии «белых сукон», поскольку они стоили

на рынке значительно меньше, чем крашенные голландские⁷. В итоге стоимость экспорта не выросла, а резко упала [Clarkson 1972, p. 125]. «Результатом было полнейшее фиаско, — отмечал великий французский историк Фернан Бродель, — в операциях крашения и аппретирования англичане не могли еще конкурировать с голландцами, которым благоприятствовало техническое преимущество и в не меньшей мере наличие у них непосредственно на месте красителей» [Бродель 1992, с. 177].

Протекционистскую политику современного типа, осуществляемую в интересах народа (скорее всего, ложно понимаемых) руками бюрократии, не следует путать с общепринятой в Средние века политикой защиты интересов конкретных цехов и гильдий. В Англии, как и во многих других государствах Средневековья, иностранцам традиционно запрещали торговать в розницу и друг с другом [Эшли 1897, с. 117, 264]. Но целью этого протекционизма являлся отнюдь не подъем отечественной экономики, а только передача прибылей отечественному бизнесу, который как посредник забирал себе часть торговой наценки. Ввести подобное регулирование было нетрудно, поскольку при сделках, осуществляемых на городских рынках, все было как на ладони. Да и всех иностранцев тогда можно было легко пересчитать. Для лучшего контроля за ними в 1397 г. ввели правило, что каждый приезжий из-за рубежа должен жить не где ему захочется, а в доме конкретного англичанина, осуществляющего контроль за его торговыми сделками [там же, с. 267]⁸.

Поощрять цеха и гильдии подобным образом государству было выгодно, поскольку они поддерживали его налогами, необходимыми для ведения войн. Объединение интересов (цехов, гильдий, муниципалитетов, «военизированного» дворянства, придворных группировок) делало такой протекционизм работоспособным. Но если интересы расходились, если, например, сам английский купец считал, что вывозить сырую шерсть за рубеж ему выгоднее, чем продавать ее по дешевке внутри страны, протекционизм не срабатывал.

Городское сообщество Средних веков старалось защищать себя не только от «внешнего врага», но и от «внутреннего», которым считался спекулянт. От продавцов требовали торговли по «разумным ценам», хотя определить критерий разумности вряд ли удавалось (за исключе-

⁷ Производство сукна насчитывало до 16 операций, каждую из которых выполняли разные мастера [Кузнецов 1981, с. 36–38].

⁸ Иногда вместо протекционизма горожане использовали погромы. Так поступили, например, с итальянскими купцами Барди в 1322 г. [Эшли 1897, с. 120].

нием случаев резкого удорожания товаров). Проще было контролировать не цены, а сделки. Бюргеры хотели иметь равный доступ к любому привозившемуся в их город товару, чтобы у перекупщиков не имелось возможности вздувать цены. Проконтролировать спекулятивные сделки тоже было трудно, но иногда они все же вскрывались. Например, в 1364 г. пекарь тайком скупил оптом всю пшеницу у торговца, накупив 2,5 пенса за бушель. Понятно, что горожанам такие операции не нравились, поскольку в конечном счете отражались в ценах на хлеб. Они требовали, чтобы товар выносился на открытый рынок, где его мог приобрести каждый. Другой пример: в 1399 г. купец привез в Лондон миногу и вместо того, чтобы стоять с ней четыре дня у церкви Св. Михаила, спрятал товар у рыбного торговца и через несколько дней продал ему. Это было явное нарушение сложившихся правил [там же, с. 205–206, 271, 284].

Сложный протекционистский механизм Средневековья никак не мог способствовать развитию экономики. Наоборот, он, ей сильно мешал. Тем не менее английская шерстяная промышленность начала медленно подниматься в XV–XVII веках, но не за счет запретительных мер, а, скорее, за счет благоприятных естественных условий — близости сырьевой базы, дешевого труда, притока квалифицированных кадров из Фландрии. И возможно, в какой-то мере за счет снижения налогов, поскольку такой стимулирующий механизм, в отличие от запретительного, действительно помогает.

Важнейшим краткосрочным фактором роста экспорта стала девальвация (связанная с целенаправленной порчей монеты), случившаяся в правление Генриха VIII (сына Генриха VII). С 1526 по 1554 г. вывоз шерстяных тканей возрос с 50 тыс. кусков в год до 135 тыс. [van Houtte 1977, p. 178]⁹, и это, кстати, лишний раз показывает, что успех внешней торговли никак не связан был с протекционизмом предыдущего царствования. Механизм подъема английской экономики XVI века очень напоминал механизм подъема пореформенной российской экономики конца 1990-х гг. Девальвация помогает отечественному производителю лучше всяких пошлин.

⁹ Экспортеры тканей имели возможность получать на континенте за свой товар полноценную монету, а с английскими ткачами и с поставщиками сырой шерсти могли расплачиваться порченной. Очевидно, наблюдение за этим процессом и привело к появлению так называемого закона Грэшема: плохие деньги вытесняют с рынка хорошие [Сакс, Ларрен 1996, с. 255–256].

Сработал и еще один важный (долгосрочный) фактор. Спрос на шерсть мог обусловить расширение предложения только в случае серьезной трансформации структуры английского сельского хозяйства — перехода от растениеводства к овцеводству. А это, в свою очередь, требовало формирования крупных пастбищ вместо малых клочков земли, на которых крестьяне традиционно выращивали хлеб и овощи. Казалось бы, неизбежным в этой ситуации был острый социальный конфликт, чреватый массовым обнищанием, — примерно такой, который имел место в XV–XVI веках в связи с огораживанием общинных полей, когда, по словам Томаса Мора, овцы поедали людей [Мор МСМXLVII, с. 57]. Однако в середине XIV столетия случилась эпидемия чумы и вызванное ею резкое сокращение численности английского населения (примерно с 4,5 млн человек до 3,0 млн). Поэтому земля освобождалась, крестьянские наделы пустовали. Исчезали порой целые деревни. В итоге захват «предпринимателями» больших земельных пространств под пастбища мог проходить без острых социальных конфликтов [Барг 1986, с. 334–335]. Это положило начало специализации английского сельского хозяйства на овцеводстве, и впоследствии успешное развитие шерстяной промышленности стимулировало дальнейшую его трансформацию в этом направлении. Более того, некоторые предприниматели даже выносили в сельскую местность производство тканей, стремясь обойти те цеховые ограничения, которые существовали в городах. В итоге одной из специфических черт английского экономического развития на ранней стадии (в XIV–XV столетиях) стало увеличение производства в деревнях и новых городах страны, тогда как старые коммерческие центры находились в состоянии стагнации [Тревельян 2005, с. 95–97].

Основатель теории мир-системного анализа Иммануил Валлерстайн высказал предположение, что уже в XVI веке огораживание привело к серьезному структурному сдвигу от растениеводства к скотоводству. «Что касается известного выражения “овцы пожирают людей”, то подъем овцеводства, следствием которого стали перебои с продуктами питания, в Англии приходилось компенсировать как более эффективным земледелием (со стороны йоменов), так и балтийским зерном» [Валлерстайн 2015, с. 132]. Однако, скорее всего, импорт зерна является все же значительно более поздним феноменом. Экономическая история показывает, что до второй половины XVIII века Англия оставалась нетто-экспортером хлеба [Holderness 1983, p. 130; Манту 1937, с. 137]. Лишь промышленная революция по-настоящему смогла изменить структуру английской экономики.

В общем, целая совокупность обстоятельств способствовала трансформации экономики Англии. Тем не менее ни овцеводство, ни даже производство шерстяных тканей не объясняют феноменального успеха этой страны, достигнутого в ходе промышленной революции. То, что происходило в XIV–XV веках, представляло собой лишь энергичную попытку догнать европейских лидеров, успешно развивавших торговлю и ремесло в самых разных направлениях. В сравнении с Северной Италией, Фландрией и Брабантом, а также рядом регионов Германии, Англия по-прежнему представляла собой экономическую периферию, которая «по территории была немногим больше “овечьего пастбища»» [Аллен 2013, с. 36].

Рост экспорта, стимулированный девальвацией, завершился примерно к 1550-м гг. в связи с насыщением товарами антверпенского рынка тканей. Восстановление континентальной экономики дошло до естественного предела. А дальше сформировались еще и «неестественные» факторы, препятствующие развитию. В 1562 г. ввоз тканей из Англии в Нидерланды был запрещен под предлогом опасности распространения эпидемии чумы. А еще через 20 лет антверпенский рынок вообще рухнул в связи с разорением города испанскими войсками, эмиграцией части населения и перекрытием Шельды голландцами [Ramsay 1957, p. 21–23, 31]. В общем, вряд ли в ту эпоху кто-то мог представить, что именно Англия через несколько столетий станет мировым промышленным лидером.

Тем не менее одновременно с конъюнктурными факторами успеха в Англии формировались фундаментальные факторы, которые должны были сработать в будущем. Важнейшим шагом на пути к модернизации стала реформация, затеянная Генрихом VIII. Причем следует заметить, что к успеху она могла привести лишь очень кружным путем, поскольку непосредственным результатом разнообразных церковных преобразований короля стала страшная разруха. Помимо всего прочего, король «прихватизировал» имущество Церкви. В том числе эффективные монастырские хозяйства. Как говорилось выше, они в ряде случаев были пионерами в развитии овцеводства, поэтому изъятие имущества церкви можно рассматривать как важный фактор деструктивного воздействия на экономику.

Король, желавший играть в большую политику на континенте вместе с Францией и Испанией, очень нуждался в деньгах. «Годовой доход Генриха составлял лишь малую часть дохода его главных соперников — меньше, чем в Португалии, и чуть больше, чем в Дании» [Лоудз 1997,

с. 283]. Причем ситуация даже ухудшалась со временем. В частности, после 1530 г. имело место снижение доходов, получаемых из большинства источников, в то время как потребности монарха возрастали — особенно в плане осуществления военных расходов [Palmer 1971, p. 23]. Поэтому совсем неудивительно, что «английская корона смотрела на Церковь как на регулярный и надежный источник своих средств» [Rex 1993, p. 58].

В начале конфликта с Монархией Церковь попыталась откупиться от репрессий, уплатив королю значительную сумму денег одновременно. Но затем Генрих решил, что можно иметь с Церкви постоянный доход, и изъял в свою пользу десятину. С 1534 г. она стала поступать не в Рим, а в английскую казну. Однако это не помогло выжить католической Церкви в Англии. В 1539 г. парламент издал закон, передававший короне все монастырские владения [Чедвик 2011, с. 103, 108].

Эта история является еще одним подтверждением того, что права собственности в Англии не соблюдались, так же как и в других странах того времени. Или, точнее, можно, наверное, сказать, что само понятие собственности сильно отличалось от современного, поэтому действия короля не воспринимались обществом как нарушение закона. Генрих с парламентом сами творили закон, и общество относилось к этому действию достаточно толерантно. По-настоящему серьезных общественных возмущений в связи с желанием защитить Церковь в Англии не возникло. Парламент при Генрихе VIII был вполне управляемым институтом, хотя случаев прямого давления на него со стороны короны было мало. Многие современники рассматривали парламент как орган, состоящий из королевских людей. Порой их называли слугами короля, порой — его деловыми партнерами, но в любом случае современный парламентаризм это не напоминало [Palmer 1971, p. 40–41]. Чужое имущество представляло собой хорошую поживу, и на этой почве вполне могли сойтись самые разные группы интересов. Начиная с королевских и заканчивая интересами малоземельного дворянства и зажиточного крестьянства.

Томас Кромвель, вероятно, предполагал использовать монастырские земли в качестве ресурса, которым можно будет пользоваться долгое время. Он намеревался сделать Генриха VIII самым богатым монархом в истории Англии [Ibid., p. 62]. Король, в принципе, мог сам использовать церковную собственность, но это было все же нецелесообразно по двум причинам. Как всякий монарх, нуждающийся в укреплении своей армии, Генрих хотел получить деньги сразу и в большом количестве. А кроме того, церковное имущество далеко не всегда приносило хорошие доходы. Оно нуждалось в инициативном предпринимателе, способ-

ном применить такие неформальные механизмы использования имущества, которые сама Церковь никак не могла взять на вооружение. Например, в Малмсбери один состоятельный продавец одежды и тканей купил монастырь, чтобы использовать его как фабрику, оснастил каждую комнату ткацкими станками и собирался построить многоквартирный дом для своих ткачей на его территории [Чедвик 2011, с. 113].

По этим причинам монархия активно распродала «прихваченное» у Церкви имущество. Не исключено, что для передачи собственности в частные руки имелась и еще одна причина. Генрих VIII был всего лишь вторым Тюдором на английском престоле. Права этой династии могли оспариваться, поскольку она пришла к власти в результате Войн Роз, когда соперничавшие за престол Ланкастеры и Йорки друг друга в большом числе перебили, ослабив собственные силы. К концу войны Генрих (VII) Тюдор оказался сильнее своих соперников (в частности, потому, что прибыл в Англию с континента во главе наемного отряда), однако проблемы легитимности новой династии это не снимало. Отсутствие стопроцентных прав на престол надо было как-то компенсировать. И Генриху VIII удалось путем распродажи монастырского имущества сформировать в Англии значительные по силе группы интересов, которые стали связывать свою судьбу именно с династией Тюдоров и с реформацией Церкви [Palmer 1971, p. 63]. Как отмечал Уинстон Черчилль, «главным результатом секуляризации стало то, что землевладельческие и купеческие слои обогатились. Именно они стали опорой династии Тюдоров и впоследствии поддержали Реформацию» [Черчилль 2006, с. 72].

Одной из таких сильно выигравших от секуляризации групп стали джентри — предприимчивые землевладельцы, по статусу своему находившиеся ниже баронов, но выше разбогатевших крестьян-кулаков — так называемых йоменов. Поначалу джентри состояли из двух социальных групп — рыцарей и эсквайров, но с конца XIV века появилась еще третья (низшая) группа — джентльмены [Given-Wilson 1996, p. 69–70]. Джентри стремились разбогатеть, и Генрих VIII предоставил им такую возможность. «Их успех не вполне зависел от сельскохозяйственной деятельности. Те из джентри, кто заглядывал в будущее, имели разнообразные личные и деловые связи с высшими городскими слоями, т. е. с буржуазией в общепризнанном и более узком смысле этого слова» [Мур-младший 2016, с. 29].

Другой группой были йомены — «класс, сверху ограниченный малочисленным классом джентри, а снизу — менее преуспевающими крестья-

нами. <...> Экономически йомены были группой амбициозных и агрессивных мелких капиталистов» [там же, с. 25]. По оценке американского социолога Баррингтона Мура, именно йомены стали главной силой крестьянских огораживаний. То есть именно они развивали аграрный сектор экономики по-новому, ориентируясь на получение дохода с быстро растущего рынка шерсти, а не на натуральное хозяйство, целью которого является лишь прокорм семьи самого крестьянина [там же, с. 26].

Ну и естественно, к этому надо добавить третью важную группу — бюргерство, городских предпринимателей. В ней не было ничего специфически английского, специфически тюдоровского. Местное бюргерство было, очевидно, послабее аналогичных групп, формировавшихся на континенте. Наверняка слабее своих североитальянских «собратьев». Но во многих городах Италии XVI век стал эпохой, когда институты, обеспечивавшие раньше коммунальные свободы, стали под давлением сильной испанской монархии быстро деградировать, что негативно сказалось на политической роли бюргерства. В Англии же, наоборот, активизация экономической деятельности джентри и йоменов объективно усиливала городские слои, посредничавшие в торговле шерстью и тканями, а также удовлетворявшие разнообразный спрос богатеющих нуворишей. Более того, между джентри и бюргерами иногда устанавливались довольно тесные личные связи, поскольку сельское дворянство посылало своих младших сыновей «на стажировку» в городские торговые фирмы для обретения опыта коммерции [Треvelьян 2005, с. 135].

Джентри, йомены и бюргеры были тюдоровской элитой. Опорой престола. Что особенно наглядно стало заметно в «золотой елизаветинский век», с которого порой принято отсчитывать начало эпохи английского процветания. Страна развивалась, не переживая серьезных внутренних конфликтов: ни таких, как те, что были в прошлом (Войны Роз, реформация), ни таких, как те, что ждали страну в будущем (Великая революция и Славная революция). Однако формирование в стране богатых и самостоятельных групп населения объективно создавало возможность конфликта со слабой монархией в случае расхождения их интересов. Особенно по финансовым и религиозным вопросам. Парламентская система с представительством сильных групп интересов представляла собой бомбу, заложенную под медленно проклевывающийся абсолютизм. «Таким образом, — делают вывод Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, — Тюдоры не только запустили процесс политической централизации — одного из ключевых условий для образования инклюзивных

институтов, — но и косвенным образом повлияли на зарождение плюрализма, еще одной опоры этих институтов» [Аджемоглу, Робинсон 2015, с. 256].

Интересно, что в столь сложной системе отношений между различными группами интересов объективно слабыми оказались позиции аристократии. По логике вещей она должна была бы быть недовольна тем, как подпирают ее снизу джентри — люди без рода и племени, без длинных родословных. Однако английская аристократия понесла страшные потери в ходе кровопролитных Войн Роз. Знатные роды сильно сократили в междоусобных боях свою численность [Hill 1955, p. 27; Браун 2016, с. 17]. Соответственно, впоследствии интенсивное пополнение аристократии происходило при Тюдорах и Стюартах. Вышло так, что более половины состава палаты лордов 1642 г. получили титулы после 1603 г. [Барг 1991, с. 70].

Аристократия ослабла, и ей трудно было претендовать на самостоятельную политическую роль в жизни страны. Скорее, можно сказать, что ей пришлось адаптироваться к новым условиям. Примерно, как пришлось к ним адаптироваться итальянской аристократии Средних веков, которую разбогатевшие бюргеры переселили в города под свой надзор и вынудили играть по своим бюргерским правилам. Английские аристократы, наблюдая за повадками джентри, тоже стали склоняться к предпринимательству, к обретению богатств коммерческим путем (раз уж воевать и грабить стало затруднительно). В итоге так вышло, что немалое число представителей этой своеобразной аристократии в будущих социальных катаклизмах оказалось на стороне парламента, склонного ограничивать произвол короны, а не на стороне монархии, стремившейся стать абсолютной.

И наконец, крестьянство. Рано начавшееся огораживание обусловило в Англии и рано начавшуюся дифференциацию крестьянства. Обратной стороной образования группы богатых предприимчивых йоменов стало появление большого числа разорившихся сельских жителей, превратившихся в наемных работников или (если работы не имелось) в бродяг. Английская монархия плохо защищала крестьян, в отличие, скажем, от консервативной французской, стремившейся притормозить обезземеливание. Таким образом, если на континенте крестьяне во многих случаях выступали консервативной силой, которую можно было мобилизовать на контрреволюционные акции, то в Англии это сделать было труднее.

Сложная социальная структура тюдоровской Англии дополнялась и сложной конфессиональной. Религиозные проблемы разделили обще-

ство на конфликтующие группы, уничтожили идейную целостность и сформировали потенциальные условия для серьезных конфликтов. Если сама реформация при Генрихе VIII прошла сравнительно гладко, то впоследствии страну мотало то в одну, то в другую сторону. Дочь Генриха Мария снова приняла католичество и репрессировала протестантов, за что получила прозвище Кровавая [Эриксон 2002]. И хотя нельзя исключить того, что победившие в конечном счете протестанты приписали Марии больше грехов, чем у нее было на самом деле, факт религиозного раскола нельзя отрицать.

Конечно, в Англии XVI века не было таких кровопролитных религиозных войн, как на континенте (во Франции и особенно в Германии). Но противостояние все же постепенно нарастало. Причем конфликты внутри протестантской веры были не менее острыми, чем вражда протестантов с католиками. Радикальные религиозные диссиденты плохо уживались с англиканами, ограничивавшимися минимальной трансформацией католичества. Елизаветинский век сформировал на какое-то время иллюзию единства, но с пресечением династии Тюдоров и воцарением Стюартов былые проблемы стали вновь острыми.

Тем не менее, хотя конфликты между различными группами интересов в эпоху правления Елизаветы оказались лишь временно заморожены, елизаветинский век стал важнейшим этапом в развитии страны. По всей видимости, это был как раз тот не слишком частый в истории случай, когда авторитарное (монархическое) правление способствует прогрессивным реформам [подробнее о королеве Елизавете I и эпохе ее правления см. Травин, Маргания 2011, с. 11–24].

Дело в том, что предшественники Елизаветы оставили ей подорванную порчей монеты денежную систему, что существенно мешало развитию экономики. Производители шерсти и тканей не могли развивать свое дело, если с ними постоянно расплачивались порченной монетой. А если бы в состояние стагнации вошло производство, то пострадал бы и английский экспорт на континент.

Политика уменьшения содержания благородных металлов в монете была начата, как говорилось выше, еще Генрихом VIII, который «таким способом добавил в свою казну, наверное, с полмиллиона фунтов, однако все равно в 40-е годы его долги были такими огромными, что их не могла покрыть и дополнительная чеканка монет. Французская кампания 1544 года и участвовавшие в последние годы правления старого короля пограничные конфликты с Шотландией стоили казне больше двух миллионов фунтов. Генрих, чтобы расплатиться с местными кредиторами,

вынужден был набрать большую сумму в долг у антверпенских купцов и банкиров. После смерти отца долги, естественно, отошли к сыну. Теперь инфляционную политику от имени Эдуарда вершил регент. К 1549 году английские монеты упали в цене больше чем в два раза по сравнению с началом десятилетия» [Эриксон 2002, с. 310–311]. При Марии Кровавой такая политика сохранялась. Причем всю вину за инфляцию власть, естественно, перекладывала «на алчных торговцев, которые вздувают цены, чтобы обогатиться» [там же, с. 363].

Сохранялась и атмосфера насилия, подрывающая безопасность бизнеса и стабильность имущественных прав. Как отмечал современник, «на этой земле каждый ходит в доспехах. <...> Правосудие в Англии — это просто деспотическое администрирование. Королевством правят, проливая человеческую кровь в таком изобилии, что она течет ручьями. <...> В этой стране вы едва ли найдете вельможу, у которого нет казненного на плахе родственника» [там же, с. 388].

«Можно ли говорить, что тюдоровская Англия была правовым государством в современном понимании? — задается сложным вопросом историк Анри Сюами. — В какой-то степени это так, о чем свидетельствовало значительное количество правил и законов, регулировавших жизнь подданных, однако эта формула лишь очень условно может относиться к государству, в котором юридические институты призваны в первую очередь заботиться о правах монарха и гарантировать его власть, а не защищать граждан от несправедливости и обеспечивать свободу каждого человека» [Сюами 2016, с. 63]. Для характеристики такого правосудия в современной России возник термин «басманное правосудие».

Вышеприведенные соображения справедливо характеризуют и времена правления Елизаветы. Королева редко считалась с мнением парламента и даже против спикера или депутата могла затеять судебное дело в том случае, когда ей не нравилась речь, произнесенная им на заседании [там же, с. 76]. Тем не менее в финансовой сфере (в отличие от правовой) в эту эпоху произошли позитивные перемены.

В 1560–1561 гг. в Англии была осуществлена финансовая стабилизация. Идейным вдохновителем ее был, по всей видимости, советник Елизаветы по финансовым вопросам Томас Грешэм [там же, с. 145]. Этот предприимчивый английский купец долгое время работал в Нидерландах, наблюдал за тем, как функционирует передовая по тем временам экономика, и сравнивал ее с экономикой его родной страны, дестабилизированной порчей монеты. По поручению королевы Марии он добывал

в Антверпене займы для английской казны [Эриксон 2002, с. 440], но при этом осознал, по всей видимости, что подобный подход к экономике губителен.

При Елизавете был восстановлен старый вес монеты. Она вновь стала серебряной с небольшим процентом примесей. Наверняка это было нелегким для властей решением, поскольку денег короне всегда не хватало, а потому велик оказывался соблазн вновь прибегнуть к их порче. Однако Елизавета от этого удержалась. Она была не склонна к большим тратам денег на содержание двора и армии, хотя укрепляла экономику и флот, необходимый для поддержания обороноспособности страны на фоне нараставшей испанской угрозы, а также приносивший неплохие доходы королевской казне благодаря пиратам, грабившим испанские суда, перевозившие серебро из Америки [Эриксон 2003, с. 221, 389; Сюами 2016, с. 65].

Не исключено, что необходимость укрепления флота сформировала специфический английский фактор защиты важнейшей части торгового бизнеса. Дело в том, что на континенте армия и бизнес были четко разделены. И для того, чтобы платить армии, любой монарх был заинтересован стричь шерстку с бизнеса. Но в Англии важнейшим фактором обороны побережья от высадки испанцев был флот. Причем не только военный, но и торговый, который в кризисной ситуации мог служить оборонным целям. В такой ситуации монарх был заинтересован не стричь шерстку с морской торговли, а, скорее, защищать ее от возможных наездов. Не исключено, что феноменальное развитие морского торгового флота в Англии XVII века уходило корнями в шадящую политику Елизаветы, опасавшейся высадки испанцев.

Позитивные процессы развивались при Елизавете и в кредитной сфере. В 1571 г. были сняты существовавшие ранее ограничения на взимание ссудного процента — «порок наиболее гнусный и ненавистный». В елизаветинский век доход кредитора, не превышавший 10 %, стал считаться вполне законным [Тремельян 2005, с. 129], что способствовало развитию экономики.

Нормализация финансов по воле случая совпала с притоком капитала и умелых мастеров с континента, что способствовало развитию экономики. Нидерландская революция, обернувшаяся военными действиями и всевозможными разорениями, стимулировала переезд в протестантскую Англию очередной группы фламандских и валлонских производителей тканей (на этот раз камвольных, отличавшихся более высоким качеством). Только в одном лишь Норвиче в 1571 г. проживало

более 4000 фламандских беженцев¹⁰. Помимо изготовления новых тканей, фламандцы развивали в Англии также пивоварение и бумагоделательную промышленность. А через столетие (после отмены Нантского эдикта) к ним добавились французские гугеноты, создавшие шелкоткацкую индустрию и производство многочисленных предметов роскоши — ювелирных изделий, часов, перчаток, экипажей и т. д. [Davis 1973, p. 203–206; Камерон 2001, с. 146]. К середине XVII века мастерство ткачей позволило англичанам наряду с голландцами поставить под контроль практически всю европейскую торговлю новыми тканями, которые оказались легче, долговечнее и дешевле, чем те, что производили итальянцы. Даже на средиземноморье местные производители теряли рынок [Holderness 1983, p. 91].

Правление Елизаветы было далеко не идеальным из-за незащищенности человека и собственности от произвола государства, а также установления системы монополий, оборачивавшихся высокими ценами. Военные проблемы и неурожай к началу XVII века сильно снизили уровень жизни и привели даже к голодным бунтам в некоторых регионах страны [Эрикссон 2003, с. 423, 476–477, 481].

Экономическое развитие отличало в основном быстро растущий, коммерческий Лондон, увеличившийся в четыре раза за сто лет — с 50 тыс. жителей в 1500 г. до 200 тыс. в 1600 г. [Клаут 2002, с. 45], но не провинцию, удаленную от основных торговых путей. Доля городского населения в Англии в 1600 г. в целом была столь же низкой, как во Франции (5,8 % и 5,9 % соответственно), и сильно отставала не только от Нидерландов (24,3 %), Южных Нидерландов — будущей Бельгии (18,8 %) и Италии (14,0 %), но даже от Испании (11,4 %), которая ремеслом и торговлей не славилась [de Vries 1984, p. 39]. А если принять во внимание еще и то, что Англия в целом по численности населения сильно отставала от Франции и Германии, то роль городской культуры там оказывалась совсем скромной. Лишь шесть городов в Англии 1600 г. насчитывали более 10 тыс. жителей, тогда как в Италии их было 59, во Франции — 43, а в Германии — 30. Даже к 1700 г. число таких городов в Англии возросло лишь до 11, тогда как во Франции — до 55 [Ibid., p. 29].

¹⁰ Англия имела в этой сфере еще и природные преимущества. В связи с огораживанием и расширением пастбищ «овцы стали питаться вдоволь, их шерсть стала длиннее, а длинная шерсть лучше подходила для камвольной ткани, чем короткая шерсть недокормленных овец Средневековья» [Аллен 2014, с. 37].

Еще одной важной проблемой был расцвет коррупции. Как-то раз в эпоху Якова I, елизаветинского преемника, у лорда-казначая поинтересовались о доходах, которые можно иметь на его должности. «Несколько тысяч у того, — ответил он, — кто хочет попасть в рай, вдовое больше у того, кто согласен пойти в чистилище, и никто не знает, сколько у того, кто не боится очутиться в худшем месте» [Савин 2000, с. 147].

В общем, отдельные прогрессивные финансово-кредитные реформы, а также развитие торговли и шерстяной промышленности не могли еще обеспечить всесторонней модернизации. Аджемоглу и Робинсон полагают даже, что в эту эпоху различия между Англией, Францией и Испанией были практически неразличимы [Аджемоглу, Робинсон 2015, с. 146]. Тем не менее по меркам XVI века условия развития оказались все же в Англии неплохими. И во многом именно они заложили основы будущих успехов.

Голландский каприз истории

В этом месте нам следует временно отступить от анализа английской модели развития для того, чтобы взглянуть на модель голландскую. Опыт развития Соединенных провинций не мог стать настоящим образцом для ведущих европейских стран (в том числе для России) по причине малого размера Голландии и специфичности самого появления на свет этого государства. Однако голландская модель продемонстрировала важные для модернизации вещи, получившие мощное развитие в английской модели, и, кроме того, непосредственно стимулировала осуществление перемен в Англии благодаря тесным экономическим связям.

Голландия и другие провинции, образовавшие независимое от Испании государство в результате нидерландской революции, ранее не отличались высоким уровнем развития. Ключевыми регионами Нидерландов были Фландрия с такими богатыми средневековыми городами, как Брюгге, Гент и Ипр, а также Брабант, породивший крупнейший коммерческий центр начала Нового времени — Антверпен. Можно отметить также Льеж, ставший важным городом для производства оружия. Однако Голландия в число экономических лидеров не входила. Хотя Амстердам в XVI веке быстро наращивал торговые обороты и численность населения, но оставался (в 1560 г.) примерно в три раза меньше Антверпена [Israel 1995, p. 114].

Антверпен как коммерческий центр вознесся в самом начале XVI века, став своеобразным посредником между южногерманскими торговыми домами (Фуггеры, Вельзеры, Хохштеттеры), контролировавшими серебряные и медные прииски в Альпах, и португальскими торговцами специями, прорвавшимися в Индийский океан в эпоху великих географических открытий. Португальцам требовалось серебро для покупки товаров, и они получали его морем, через Антверпен. Соответственно, в обратном направлении по Европе расходились восточные пряности. К середине XVI века эта коммерческая схема рухнула в связи с появлением у испанцев феноменально богатого серебряного рудника в Потоси (Боливия). Португальцы стали приобретать серебро у ближайших соседей, а разбогатевший Антверпен стал посредником в других товарных потоках. С севера на юг через него шли английские шерстяные ткани (точнее, полуфабрикаты, требовавшие существенной доработки со стороны высококвалифицированных фламандских и брабантских мастеров), а с юга — вина, масло, фрукты, предметы роскоши [van Houtte 1977, p. 175–178, 180–181].

Казалось, ничто уже не сможет поколебать уникальную лидерскую позицию Антверпена, который стал еще и финансовым центром, где аккумуляровались деньги для кредитования испанской, португальской и английской короны [Ibid., p. 220], но нидерландская революция нарушила спокойный ход событий в Брабанте и соседних регионах. Повстанцы вынуждены были воевать с сильной и хорошо экипированной армией, подпитывавшейся финансовыми ресурсами из американских колоний Испании. Победить такую армию оказалось невозможно. В итоге почти все развитые коммерческие центры Нидерландов остались под контролем Габсбургов. Однако и Испания не смогла победить голландских гезов по-настоящему. Не смогла решить те основные задачи, которые перед ней в этой войне стояли.

Филиппу II требовалось не столько удержать свое формальное доминирование в Нидерландах, сколько сохранить курицу, несущую ему золотые яйца. Коммерческие центры этого региона являлись важнейшими налогоплательщиками, что для державы, претендовавшей на мировое лидерство и вынужденной иметь крупнейшую в Европе армию, было чрезвычайно важно. Филиппу казалось, по всей видимости, что, отвоевав города у повстанцев, он сохранит налоговую базу и сможет впредь получать доходы от местного бизнеса. Однако на деле все вышло по-другому. Нидерландская революция имела религиозный характер. Кальвинисты не хотели продолжать жить под властью католиче-

ской державы и готовы были сопротивляться всеми возможными средствами. Они уходили в те северные регионы, до которых испанская армия не добралась, и выводили с собой капитал в ликвидной форме: проще говоря, то, что можно было с собой унести. Так, в частности, поступили жители Антверпена после сдачи города войскам знаменитого полководца герцога Пармского (Александра Фарнезе) в 1585 г. [Бродель 1992, с. 186].

Поскольку для Испании финансовые трудности и риски, связанные с завоеванием сравнительно небогатого Севера, превышали очевидные выгоды, эта часть Нидерландов осталась свободной. Увязший в военных конфликтах Филипп II вынужден был после захвата Антверпена двинуть свои войска к Ла-Маншу для возможной переброски в Англию. А в начале 1590-х гг. армия понадобилась королю во Франции, чтобы помешать гугеноту Генриху Наваррскому вступить в Париж [Малиа 2015, с. 152–153]. В итоге сил на Северные Нидерланды ему уже не хватило, и Соединенные провинции стали независимым государством. А новым экономическим центром региона оказался Амстердам, который ранее выделялся лишь ролью посредника в балтийской торговле [van Houtte 1977, p 185].

Вообще-то, преимущества Амстердама как «заместителя Антверпена» были весьма сомнительны. До 1580-х гг. Голландия не имела условий для того, чтобы стать серьезной торговой державой. Там было мало крупных торговцев и капиталов. Зависимость от Антверпена оставалась чрезвычайно сильной. Неудивительно, что на первой стадии войны, вызванной нидерландской революцией, многие богатые протестанты бежали в Кельн, Франкфурт, Гамбург, Лондон и даже в Руан — в солидные европейские коммерческие центры. Лишь простые ткачи, не имевшие средств на дальнюю дорогу, перебирались в голландские места по соседству: в Лейден или Харлем. Но после падения Антверпена уже и богатые предприниматели устремились на север [Israel 2002, p. 27–28, 35–36].

Там их не ждали райские кущи. Перспективы Амстердама в 1586–1590 гг. казались мрачными, поскольку, во-первых, испанские войска перекрыли реки, по которым осуществлялись коммерческие связи с центром Европы, а во-вторых, Филипп II ввел эмбарго в Испании и Португалии против голландских торговых судов. Возникла экономическая стагнация. Капиталы из Амстердама стали убегать в Любек. Однако затем испанские войска ушли решать свои военные задачи во Францию, а эмбарго с голландцев пришлось снять из-за необходимости

наложить его на новых врагов — англичан¹¹. И как только это произошло, голландская экономика резко пошла на подъем. Капиталы стали возвращаться и инвестироваться в торговые компании Амстердама, в промышленность Лейдена и Харлема [Ibid., p. 30–32, 39–40]. Несмотря на сохранение сложных отношений с Испанией, Голландия с тех пор развивалась динамично и, в частности, стала доминирующей силой в балтийской торговле.

В 1627 г. путешественник, едущий из Брюсселя в Амстердам, обнаружил, что голландские города полны народом, тогда как Южные Нидерланды, удерживаемые испанцами, пусты. Если в 1550 г. население, проживавшее на территории будущих Соединенных провинций, составляло около одного миллиона человек, то через сто лет в независимом государстве было уже два миллиона [Бродель 1992, с. 178, 183].

Впервые в экономической истории Европы обнаружилось, что капитал обладает способностью не подчиняться политической власти и уходить из-под ее контроля даже в том случае, когда проигрывает военное соперничество. Антверпен, оставшийся в руках испанцев, вскоре перестал быть важнейшим коммерческим центром. Помимо оттока капитала возникла еще одна проблема. Голландские корабли перекрыли устье Шельды, и Антверпен потерял транспортное сообщение с морем. А без этого он уже не представлял для купцов особого интереса. Население города за несколько лет сократилось примерно в два раза [Мак 2013, с. 58]. Ушли иностранные торговцы. В 1609 г. там было лишь «два купца из Генуи, один из Лукки и ни одного флорентинца. Антверпенская биржа совершенно опустела, в ее галереях была устроена городская библиотека» [Кулишер 1926б, с. 149–150].

Амстердам же, напротив, был обращен непосредственно к морю и имел потенциальную возможность стать сильным коммерческим центром. Численность его населения утроилась между 1550 и 1600 гг. [там же, с. 59]. Объяснялись успехи Амстердама тем, что у голландцев имелось несколько важнейших факторов, необходимых для нормального развития. Некоторые из них выявились еще до нидерландской революции, а другие сказались на фоне деградации Антверпена.

¹¹ Такой инструмент, как санкции, запрещающие торговлю с Нидерландами, Испания вводила неоднократно, но жесткие санкции всегда были непродолжительными, а продолжительные — не жесткими [de Vries, van der Woude 1997, p. 370]. Уже тогда стало ясно, что санкции, применяемые против экономически более сильной страны, трудно поддерживать: тот, кто накладывает эмбарго, не может без помощи дискриминируемого партнера решить некоторые свои важные задачи.

Во-первых, надо отметить географическое положение, которое ставило голландских мореходов в лучшее положение в сравнении с ганзейскими купцами. Традиционно торговлю на Балтике осуществляли немецкие города. Особенно Любек — центр Ганзы, и Данциг — ворота в Польшу, являвшуюся важным производителем зерна. Но порты в Голландии раньше освобождались весной от льда. Это позволяло продлить навигацию. Голландцы брали во Франции и Португалии соль и везли ее на Балтику, где был большой спрос в связи с необходимостью солить рыбу. На вырученные деньги они закупали польское зерно, необходимое в Средиземноморье и успевали обернуться до закрытия навигации. Из ганзейских портов столь сложную коммерческую операцию провести было невозможно [Israel 2002, p. 19–20]¹².

Во-вторых, голландцы удачно использовали в своих интересах острую политическую борьбу на Балтике. Понятно, что добровольно немцы туда их не пустили бы как опасных конкурентов. Но голландцы воспользовались поддержкой Дании, воевавшей с Любеком в 1438–1441 гг. И в результате уже на рубеже XV–XVI веков 70 % судов, проходивших в Балтийское море через контролируемый датчанами пролив Зунд, были из Северных Нидерландов. А к середине XVI столетия голландцы уже перехватили у любекских купцов большую часть той хлебной торговли, которая велась в Данциге [de Vries, van der Woude 1997, p. 350–353].

В-третьих, Польша тем временем все активнее входила в большую европейскую торговлю, предлагая импортерам зерно из глубинных регионов, которое по Висле шло до Данцига. Дело в том, что в Восточной Европе было сравнительно мало городов. Соответственно, доля городского населения была незначительной. Местное бюргерство не могло предъявить большой спрос на зерно. А в отсутствие спроса пустовали земли, которые могли бы пойти под распашку. Поэтому поставлять сельскохозяйственную продукцию именно за море было очень выгодно местным помещикам. Когда голландцы связали Польшу со Средиземноморьем в единый хлебный рынок, магнаты и шляхтичи усилили давление на крестьян, освоили новые территории и обеспечивали увеличение экс-

¹² Португальские моряки тоже не могли соперничать с голландцами на этих маршрутах, поскольку им за сезон надо было ходить на своих кораблях аж до Индии. А нормандцы и бретонцы были отсечены от иберийского зернового рынка политическими барьерами, как подданные Франции, борющейся с Испанией за контроль над Европой [de Vries, van der Woude 1997, p. 356]. В общем, сказалась целая совокупность обстоятельств.

порта. «В XVI веке общая площадь возделываемых в Польше земель увеличилась на 15 %, а на пустовавших дотоле тучных землях собирали высокие урожаи» [Дыбковская, Жарын, Жарын 1995, с. 98]. К середине XVI века объем поставок зерна через Амстердам в шесть–десять раз превысил средние показатели 1490-х гг. [Валлерстайн 2015, с. 114–115].

В-четвертых, важным преимуществом Голландии стали капиталы. Окраина Европы вдруг оказалась местом проживания для многих богатых людей. Благодаря миграции купцов из Брабанта и Фландрии Северные Нидерланды получили солидную финансовую базу для развития. Более того, эта база расширялась в ходе войны благодаря тому, что голландские гёзы с 1568 г. взяли на вооружение пиратство, атакуя разные суда, чтобы отнимать находившиеся на них богатства [van Houtte 1977, p. 188]. «На целых восемьдесят лет, то есть до самого конца Тридцатилетней войны, образовалась крупная и растущая утечка испанских финансов, которая усиливала голландских бунтовщиков и ослабляла Испанию» [Арриги 2006, с. 187]. Коммерчески выгодный разбой становился важной частью первоначального накопления капитала и стимулировал развитие судостроения. Быстрый приток денег способствовал укреплению традиционной для Амстердама хлебной торговли, а также широкой диверсификации хозяйственной деятельности.

В-пятых, реформация, которая шла в основном по пути, проложенному Жаном Кальвином [Мак 2013, с. 47], возможно, также стала одним из важных факторов экономического роста. Голландские кальвинисты были носителями протестантской этики, способствовавшей, по мнению выдающегося немецкого социолога Макса Вебера, развитию капитализма. Эта этика ставила представления религиозных людей о спасении в зависимость от достижения мирского успеха. Стремление к обогащению перестало быть грехом, который следовало замалчивать, отыскивая различные компромиссы с Церковью. В отличие от католической Церкви кальвинистская лишь поощряла предпринимательство [Вебер 1990]¹³.

В-шестых, голландцы издавна имели хороший мореходный опыт, который еще больше развился в ходе войны с Испанией. Не имея возможности реально сопротивляться испанским терциям на суше, протестанты переносили сражения на воду и побеждали. Война стимулировала судостроение, и неудивительно, что оно впоследствии оказалось использовано для коммерческих целей.

¹³ Справедливости ради следует заметить, что теория Вебера о роли протестантской этики до сих пор активно оспаривается в науке [см., напр., Капелюшников 2018].

Морская торговля, на которой сделали акцент Соединенные провинции, не была, естественно, новинкой для европейского бизнеса. Многие города активно торговали по воде еще в Средние века, причем некоторые (особенно Венеция и Генуя) специализировались именно на торговле, а не на ремесле. Однако до сих пор коммерческие центры Европы оставались в прямом смысле центрами, через которые шли товарные потоки. Скажем, венецианские купцы привозили пряности из Леванта на своих кораблях по Средиземному морю в свой родной город, куда с севера, из альпийских перевалов, приходили немецкие торговцы. Они поселились на Риальто в Фондако-деи-Тедески, приобретали заморские товары и дальше отправлялись торговать к себе в Германию, тогда как венецианцы считали свою миссию выполненной и уже не интересовались вопросом транспортировки товара к конечному потребителю.

Голландцы пошли значительно дальше. Само по себе их маленькое государство, возникшее как каприз истории [Мак 2013], не могло послужить производственной базой для широкомасштабной ремесленной деятельности. Там не нашлось бы рынка сбыта для товаров. Поэтому акцент на международную морскую торговлю был с самого начала задан сложившейся ситуацией. Причем голландские купцы впервые в истории стали профессиональными торговыми посредниками, связывающими между собой самые разные регионы мира, далекие от Амстердама. Они могли перевозить хлеб с Балтики в Средиземноморье, соль, вино и масло с юга на север, а также разнообразные экзотические товары с далеких колониальных территорий в Европу.

Еще антверпенские финансисты часть выручки, полученной от расширяющейся европейской торговли, инвестировали в организацию заокеанских плаваний из Севильи. До 1568 г. эти инвестиции осуществляли генуэзцы, но затем они сосредоточились на кредитовании короны Габсбургов, сочтя, по всей видимости, предоставление займов государству делом более выгодным. Тогда их место на рынке заняли кредиторы из южных Нидерландов, увязавшие в единую систему разного рода сложные операции, осуществлявшиеся на противоположных частях света. А когда богатый Антверпен был захвачен армией Фарнезе, центр коммерческой активности был перенесен в Амстердам. Тем более что в этом городе непосредственно находилась гавань для судов, обслуживавших товарные потоки на Балтике, о которых шла речь выше [Davis 1973, p. 180; Бродель 1992, с. 206–207].

Численность амстердамских купцов, занимавшихся заморской торговлей, уже в 1585 г. в два раза превосходила численность всех осталь-

ных, вместе взятых. А в следующие полстолетия она еще и резко выросла, тогда как количество торговцев, специализирующихся на других направлениях, сократилось [Israel 1995, p. 347]. Любопытным показателем новых реалий, сложившихся в международной торговле, стало то, что в XVII веке голландцы даже экспортировали пряности в Левант, который раньше был центром, откуда итальянцы их импортировали в Европу. Мировым рынком пряностей стал Амстердам [van Houtte 1977, p. 197].

Сложившаяся за долгое время торговая специализация Нидерландов активно стимулировала совершенствование судостроения, которое, в свою очередь, стало важным конкурентным преимуществом. Ганзейским городам развивать свои корабли мешала средневековая практика цехового регулирования, тогда как голландцы свободно заимствовали любые прогрессивные новшества. Они готовы были торговать где угодно, с кем угодно и на каких угодно судах, если это было им выгодно. Они использовали новую систему парусов, позволявшую меньше времени проводить в портах в ожидании попутного ветра [de Vries, van der Woude 1997, p. 353, 356]. Более того, голландцы создали корабли, которые оказались по ряду параметров эффективнее судов всех их конкурентов (не только ганзейцев). Скорость этих судов была больше, а трюмы вместительнее, чем, например, у французов. Команды меньше по численности. В отличие от английских кораблей, оснащенных мощным вооружением и постоянно использовавшихся для разных целей, голландские предназначались специально для торговли и не были перегружены пушками. Более того, Голландия как относительно бедная в то время страна использовала преимущества дешевого труда. Голландский матрос скромнее питался во время плавания и получал меньшую зарплату [Бродель 1992, с. 190; Israel 2002, p. 19–21].

Объем зерна, поставляемого голландцами из Балтики в разные страны, к началу XVII века составлял львиную долю всех осуществлявшихся через Зунд поставок. Явное доминирование Голландии сохранялось на протяжении всего столетия, и лишь во второй четверти XVIII века оно стало постепенно сходить на нет, хотя еще несколько десятилетий «летучим голландцам» удавалось оставаться важнейшей торговой силой данного региона [Арриги 2006, с. 188].

Важнейшим местом, с которым именно голландские мореходы стали устанавливать постоянную торговую связь, стали колонии — Гвинея, Карибы, Индия [Israel 2002, p. 60–73]. Понятно, что на рубеже XV–XVI веков приоритет в колониальной торговле имели португальские и испанские конкистадоры. Однако испанцы в значительной мере скон-

центрировались на добыче и транспортировке благородных металлов, представлявших, естественно, наибольшую ценность. Голландцы же не имели колоний, из которых можно было везти золото и серебро. Не имели они и армии имперского типа, которую постоянно следовало подпитывать деньгами. Зато голландцы обладали сильным флотом, способным перевозить продукты колониального сельского хозяйства и побеждать в схватках тех иностранных конкурентов, которые соперничали с ними за контроль над морскими путями. Выгода, полученная от торговли, распределялась в Голландии между различными слоями населения, по-видимому, равномернее, чем в Испании и Португалии. Следствием этого стал рост потребления диковинных колониальных товаров обогащающими голландскими бюргерами. Более того, потребление этих товаров стало постепенно одним из важнейших признаков престижа для нуворишей, не способных похвастаться гербами предков и древностью своего рода.

Примерно со второй половины XVII века в Голландии, а затем и в некоторых других европейских странах расширяется потребление экзотических колониальных товаров — чая, кофе, табака. Новизна вкусовых ощущений захватывает людей и создает у них ощущение (или, по крайней мере, иллюзию) новизны жизни. Постепенно пристрастие к колониальным товарам охватывает все более широкие массы населения. Сначала — простых бюргеров, а затем и хорошо обеспеченных крестьян. Взрывной рост потребления чая фиксируется между 1700 и 1720 гг. Рост потребления кофе на протяжении XVIII века оказывается еще более стремительным [де Фрис 2016, с. 254–255]. Параллельно с этим увеличивается и потребление престижной продукции местного происхождения. Яркий пример для Голландии — производство знаменитого дельфтского фаянса. Если в 1650 г. в Делфте насчитывалось всего 14 цехов, то к 1670 г. их число возросло до 30 [там же, с. 217]. Во многих голландских семьях появились фаянсовые украшения. Впоследствии обычай иметь престижную керамику перешел от голландцев к англичанам и французам. Все больше становилось в бюргерских домах небольших картин и гобеленов, удобной вместительной мебели.

Даже искусство постепенно переориентировалось и стало специализироваться на удовлетворении массового частного спроса, а не спроса со стороны Церкви, что, с одной стороны, отражало специфику протестантизма, существенно упростившего интерьер храмов, а с другой — радикальную трансформацию потребительских стандартов общества. «Малые голландцы», в частности, специализировались именно на светской живо-

писи, отражающей бытовые сюжеты и предназначенной для украшения жилищ в отличие от тех картин с сюжетами из священной истории, которые в прошлые века традиционно украшали церковные интерьеры.

Потребительская революция не только изменила привычки бюргеров и интерьер их домов, но и стимулировала, по мнению голландско-американского историка экономики Яна де Фриса, революцию трудолюбия. Дело в том, что для расширения потребления требовалось все больше и больше денег. Если в традиционном обществе с его примитивной потребительской структурой крестьянину не нужно было много средств на обеспечение своего быта помимо питания, то теперь соблазны быстро расширялись. Соответственно, стало меняться и поведение человека Нового времени. Вместо того чтобы спокойно отдыхать или же молиться Богу в свободное от работы время, он стал изыскивать всякие дополнительные возможности для труда и заработка. Не то чтобы он в прямом смысле вдруг сильно возлюбил труд. Напротив, работа часто вызвала отвращение и усталость. Однако соблазн приобретения дополнительных потребительских благ оказывался столь силен, что человек Нового времени стал трудиться через не могу.

Сама по себе революция трудолюбия еще не сделала труд более производительным, не оснастила его эффективной техникой и не привела к настоящей промышленной революции. Но она, во-первых, интенсифицировала многие виды деятельности, во-вторых, сократила число выходных и праздников, в-третьих, вовлекла в труд ради заработка женщин и даже детей, которые раньше занимались домашним хозяйством, не претендуя на то, чтобы приносить в семью какие-то деньги со стороны [там же, с. 149]. Вначале, по мнению де Фриса, эти трудовые новшества захватили Голландию как наиболее передовую рыночную страну, но затем голландский образец стал соблазнительным для соседних народов, и революция трудолюбия переместилась к ним — в первую очередь к англичанам.

Конечно, не следует воспринимать революцию трудолюбия как событие, радикально изменившее жизнь человечества и обеспечившее трансформацию европейской экономики. Потенциал этой революции был сравнительно невелик по отношению, скажем, к промышленной революции XVIII века и последующим технологическим изменениям. Резервы свободного времени в домохозяйстве малы. Их можно задействовать для роста производства только один раз в отличие от технического прогресса, который по сей день не останавливается и формирует все новые возможности. Однако важное значение революции трудолюбия может состоять в том, что она в XVII–XVIII веках стимулировала развитие

экономики, увеличила объемы торговли и численность городского населения, а это уже, в свою очередь, повлияло на социальные процессы и на приход промышленной революции.

В известном смысле применительно к Голландии можно говорить о том, что, помимо революции трудолюбия, она совершила еще и фриттердерскую революцию, продемонстрировав всем европейским странам, каких больших финансовых успехов может достичь государство за счет свободной торговли.

Ни венецианцы, ни генуэзцы при всех их значительных торговых успехах, достигнутых в Средние века, не могли стать образцом по двум причинам. Во-первых, коммерческие зоны, способствовавшие их обогащению, были локальны (Восточное Средиземноморье и некоторые районы черноморского побережья). Вследствие чисто геоэкономических причин венецианский и генуэзский опыт невозможно было повторить городам, расположенным в иных районах Европы. Во-вторых, в ту эпоху из-за слабого развития государства и его абсолютной неспособности к проведению экспансионистской хозяйственной политики любой опыт могли заимствовать лишь отдельные города (максимум — сообщества городов, такие как немецкая Ганза). Но после формирования государства Нового времени [Травин 2017] и в связи с его нарастающей потребностью увеличивать объем находящихся в распоряжении монарха финансовых ресурсов для формирования наемной армии, обладающей огнестрельным оружием [Травин 2015], ситуация радикально изменилась. Всеобщая потребность в деньгах стала столь существенным фактором, влияющим на европейскую жизнь, что маленькая республика привлекла внимание великих держав.

Голландский опыт обогащения нации стал соблазнительным. Мы ясно видим это на примере Петра I, собравшего информацию о важности судостроения в ходе своего «Великого посольства» и затем попытавшегося применить голландский опыт на практике для обогащения России. Но еще задолго до Петра тот же соблазнительный голландский пример воздействовал на трех ближайших соседей — Англию, Францию и Швецию. Каждая из этих стран стала в XVII веке сильной европейской державой и, естественно, задумывалась о том, чтобы быть еще сильнее.

«В торговле сами англичане чувствуют себя позади голландцев. Торговый флот последних много больше английского. Смесь над запретами иностранцам ловить рыбу у берегов Англии, нидерландцы при Якове вылавливали сельдь под самым носом у англичан. В 1602 г. Рэли жалуется, что голландцы отбили у англичан торговлю в Балтийском море; но он

находит это вполне естественным, изумляется предприимчивости соперников и тужит об отсталости соотечественников. Нидерландцы возят грузы значительно дешевле англичан» [Савин 2000, с. 124–125]. Английская идея развития флота с помощью государства и использования его для свободной торговли по всему миру с целью обогащения этого государства могла сформироваться только на голландском примере. Маленькая страна, возникшая как своеобразный каприз истории и создавшая сильный флот из-за отсутствия иных способов развития экономики, вдруг оказалась образцом и повернула устремления других стран в экономическую сферу. Стало ясно, что столь необходимые каждой государственной казне деньги можно не просто собирать с уже существующего по объективным причинам бизнеса. Их можно получать в большом количестве, целенаправленно выращивая бизнес. Особенно в сфере морской торговли.

Пример оказался соблазнителен для всех стран, начиная с соседней Франции Людовика XIV и заканчивая далекой петровской Россией. Однако неудивительно то, что в наибольшей степени голландской моделью смогла воспользоваться именно Англия, веками связанная с Нидерландами экономически благодаря вывозу шерсти и придававшая особое значение развитию флота (по крайней мере, со времен Елизаветы) в связи с его ролью в обороне острова от агрессоров.

Впрочем, несмотря на успехи Англии в международной торговле, надо сказать, что никакой фритредерской мировой экономики из голландского опыта в XVII веке не вышло. Каждая страна хотела бы нажиться на фритредерстве, но не хотела при этом, чтобы соседи (и потенциальные военные противники) наживались за ее счет. Усилия, принятые разными государствами для развития торговли, парализовали друг друга. В итоге вместо фритредерства возник меркантилизм, что оказало, в частности, влияние на формирование английской модели.

Богатый опыт развития международной торговли, накопленный в Соединенных провинциях, проложил путь для развития английского бизнеса, но мы не можем тем не менее говорить о голландской модели модернизации. Данный опыт активно заимствовался соседями, понявшими, насколько выгодна международная морская торговля, однако самой Голландии он дал возможность движения вперед лишь до определенной границы. Торгующий по всему миру бизнес в условиях усиления роли государства оказывается в зависимости от того, какую экономическую политику эти соседи осуществляют. Успех «летучих голландцев» основывался на фритредерстве. Однако крупные европейские страны не собирались вечно отдавать свои потенциальные доходы торговой держа-

ве. Возникновение меркантилизма положило предел процветанию Голландии. Таможенные пошлины и преференции для своего национального бизнеса, к которым прибегали меркантилистские государства, ограничили коммерческие возможности Соединенных провинций. Крупные государства по мере сил подражали Голландии в том деле, в каком она оказалась успешной, однако сами закрывали голландцам возможности для обогащения.

Конечно, далеко не всегда меркантилистские меры государственно-регулирующие были успешны. «Но вне зависимости от успехов или неудач каждой из них *по отдельности само распространение* многочисленных видов меркантилизма в конце XVII — начале XVIII века, — констатировал социолог Джованни Арриги, — создало в Европе и в мире в целом такие условия, в которых голландская коммерческая система не могла выжить ни при каких обстоятельствах» [Арриги 2006, с. 197].

Если XVII век был золотым веком Голландии, то в дальнейшем эта страна перестала быстро развиваться. Для развития в условиях меркантилизма требовался большой внутренний рынок, но маленькая страна, специализирующаяся преимущественно на морской торговле, им не обладала. Новым экономическим лидером теперь могло стать только государство, сочетающее возможности, создаваемые международной (в том числе колониальной) торговлей, с преимуществами большого внутреннего рынка. И этим государством оказалась Англия.

Великая... Славная... Научная... Промышленная

Резкие перемены, произошедшие в Англии, традиционно принято увязывать с великой революцией середины XVII века. Она и впрямь сыграла большую роль, однако результаты социально-политического кризиса определялись, скорее, соотношением групп интересов, сложившимся к эпохе правления Стюартов, а значит, долгим историческим путем Англии, а не революцией самой по себе.

В предреволюционной Англии корона придерживалась принципа, впоследствии сформулированного Гете: «Лучше несправедливость, чем беспорядок». Против тех, кто угрожал (или казалось, что угрожал) порядку, возбуждалось много политических процессов, направленных на то, чтобы уничтожить противника. Существовал даже специальный суд — так называемая Звездная палата, — который должен был защи-

щать разных несправедливо обиженных людей, но на практике стал институтом, стоящим на страже интересов короны. Фактически это был суд по делам, относящимся к сфере государственной безопасности. Представители высшего дворянства, угрожавшие этой безопасности, не только могли лишиться жизни, но и теряли имущество, а их потомки теряли право на титул [Сюами 2016, с. 79–81, 87].

Дело шло к тому, чтобы установить в Англии абсолютизм, который складывался в это же время и в большинстве континентальных стран. Однако английская монархия оказалась сравнительно слабой и не смогла добиться нужного результата в обострившемся конфликте со своими противниками.

Одной из важнейших причин слабости короны в гражданском конфликте оказалось отсутствие постоянной профессиональной армии, которую при необходимости можно было бы обратить против бунтовщиков. Англия в военном отношении была совершенно архаичным государством, значительно более слабым, чем крупные континентальные державы. Различные армейские формирования, конечно, имелись, однако людей, посвятивших жизнь военной службе, насчитывалось мало и они были разбросаны по стране. Сохранялась дискредитировавшая себя система призыва на военную службу мирных обывателей, не желавших воевать. «Когда у нас в Англии нужно собрать армию, — говорили еще во времена Елизаветы, — мы облегчаем тюрьмы от воров, освобождаем трактиры и кабаки от пропойц и безобразников, очищаем город и деревню от бродяг и мошенников» [Савин 2000, с. 153]. Призывом занимались по всей стране так называемые капитаны (по-нашему — военкомы), часто освобождавшие за взятку обеспеченных людей от несения воинской повинности. А если удавалось все же собрать народ в ополчение, государство обнаруживало порой, что не может его содержать [Сюами 2016, с. 93, 97–98, 102–103].

Такая специфика армейского строительства определялась, с одной стороны, островным положением государства, благодаря которому опасность внешнего вторжения резко снижалась (особенно при наличии хорошего флота, защищающего берега), а с другой — сильным парламентом, который не оспаривал у короны власть, но эффективно препятствовал ей в деле усиления налогового гнета, столь необходимого для финансирования вооруженных сил. Можно сказать, что события XIII века, приведшие к формированию парламента, по-настоящему сказались в XVII столетии именно в связи с тем, что при отсутствии армии орган сословного представительства оказался сопоставим по силе с короной.

Еще одной причиной слабости короны стала ситуация, сложившаяся в огромном, быстро разраставшемся Лондоне, где проживало в то время 8 % населения страны (450 тыс. человек). Внешнеторговые успехи эпохи Тюдоров превратили столицу политическую в бесспорную столицу экономическую, создававшую обилие рабочих мест. Лондонцы были в значительной степени горожанами первого поколения — мигрантами, недавно лишь перебравшимися в столицу из провинции. Эти люди, растерявшиеся от непривычного образа жизни большого города, оказались сильно подвержены разного рода агитации. Слухи и новые идеи распространялись по Лондону чрезвычайно быстро, а авторитет традиции утратил то значение, которое имел в патриархальной деревне. В результате необразованная агрессивная толпа становилась важнейшим фактором дестабилизации [Manning 1976, p. 71].

Третьей причиной слабости короны была сравнительная «молодость» правящей династии Стюартов. В Средние века и в начале Нового времени пресечение старой династии часто порождало Смуту. Когда умерла Елизавета и пресеклась династия Тюдоров, Смута только-только окончилась во Франции, где смена династии Валуа династией Бурбонов прошла через кровопролитные религиозные войны, а Россия, где власть сменившего Рюриковичей Бориса Годунова так по-настоящему и не утвердилась, как раз в начале XVII века в Смуту входила. Английская ситуация на этом фоне казалась благополучной. Но в данном случае можно, наверное, говорить об «отложенной Смуте». Легитимность Якова Стюарта и его сына Карла не была бесспорной. Яков I был нехаризматичен и непопулярен, да к тому же умудрился показать обществу, что стоит над парламентом и согласует свои действия с законом лишь по доброй воле, а не по обязанности [Грин 2018, с. 494].

Наверное, дело обошлось бы без острых конфликтов, если бы Карл I не вступил в жесткое противостояние с обществом из-за денег, понадобившихся ему для ведения войны на континенте, но, собрав парламент и столкнувшись с условиями, которые ему были выдвинуты, король оказался в проигрышном положении.

Если Тюдоры долгое время умело строили свои отношения с парламентом, обеспечивая материальные выгоды ключевым группам интересов (при Генрихе VIII) или, по крайней мере, не нанося этим группам ущерба (при Елизавете I), то Стюарты вступили с ним в конфронтацию. И в этой ситуации вдруг выяснилось, что институт сословного представительства, сформировавшийся еще в XIII веке и окрепший в XVI столетии, стал бомбой замедленного действия, подорвавшей монархию. Ключо-

чевые группы, представленные в парламенте, имели общие интересы, в то время как на стороне короля сильных групп не оказалось. Ни во Франции, ни в России к моменту пресечения династии исторический путь не сформировал сильного института сословного представительства, способного вступить в противостояние с монархией как таковой. И в этих странах после Смуты утвердились новые династии, построившие в конечном счете абсолютистские монархии, тогда как в Англии дело закончилось казнью короля и формированием парламентского правления, переросшего в диктатуру Оливера Кромвеля, опиравшегося на армию. По сути, Кромвель выступил как запоздалый ренессансный кондотьер, использовавший военную власть для захвата власти политической.

Гражданская война, приведшая к поражению Карла I, мобилизовала против него разнообразные группы интересов — социальные (большая часть джентри, бюргеров, йоменов), религиозные (пуритане, индипенденты) и региональные (в основном жители богатого Лондона, а также других быстро развивающихся городов юга и востока Англии). Причем религиозные различия были в тот момент доминирующими. Люди одного региона и одного достатка вполне могли поддержать или не поддерживать революцию в зависимости от своего вероисповедания [Hill 1955, p. 15; Савин 2000, с. 246]. Но в целом революционная «партия» была мощнее и богаче, что позволило ей щедрее финансировать и лучше экипировать свою армию.

На этом фоне защитники монархии оказались слабыми (аристократия, католики, ирландцы, валлийцы, жители отстающих регионов — севера и запада страны), а потому неспособными сохранить старый режим. Толпа часто выступала против роялистских лидеров, и лишь в отдельных частях страны им хватало авторитета повести народ за собой [Manning 1976, p. 166]. Решающую роль сыграло то, что против короля выступила хорошо организованная и профинансированная английским парламентом шотландская армия, состоявшая в значительной степени из наемников, имевших большой опыт участия в Тридцатилетней войне на континенте [Hill 1980, p. 18]. Стремление заработать на участии в боевых действиях сочеталось у шотландских пресвитериан со стремлением отстаивать свои конфессиональные интересы в борьбе с англиканством.

В английской революции сошлись все пять элементов, которые историческая социология считает необходимыми для возникновения революционной ситуации [Голдстоун 2017, с. 34–41]. Во-первых, фискальные проблемы монархии, с которых часто начинается ее конфликт с элитами (Карл I не мог получить у парламента деньги для решения сво-

их военных задач на континенте). Во-вторых, растущее отчуждение элит и их переход в оппозицию (ведущие социальные группы объединились в своем неприятии абсолютизма). В-третьих, мобилизация масс, вызванная ощущением несправедливости (действия короля воспринимались как противоречащие старой доброй традиции, заложенной Magna Carta). В-четвертых, идеология, предлагающая нарратив сопротивления и устанавливающая связь между различными оппозиционными группами (пуритане воодушевляли восставший народ своим фанатизмом). В-пятых, благоприятная международная обстановка (помощь, оказанная английским революционерам Шотландией).

При этом характерно, что как противники короля, так и его сторонники считали, что борются не за новый светлый мир (подобных представлений тогда не существовало), а за восстановление истинного старого мира. Просто одни считали таким миром парламентаризм и вольности, а другие — божественное право монарха творить закон и править в соответствии с ним. XVII век не был веком осознанной модернизации. Новая Англия родилась в битве консерваторов между собой.

Падение старого режима не означало автоматически установления новой эффективной формы правления. Объединившиеся против короля группы интересов впоследствии перессорились и конфликтовали друг с другом. Гражданская война привела к распаду государства, к утрате легитимности режимом Кромвеля, к неспособности власти создать условия для бизнеса и поддержания приемлемого уровня жизни населения. Религиозный фанатизм пуритан¹⁴, боровшихся с человеческими пороками, стал угрожать прагматичным устремлениям обывателей [Черчилль 2006, с. 310–311]. Угрожали им и простые бандиты. Десятки тысяч людей на местах вынуждены были создавать силы самообороны (движение клубменов) просто для того, чтобы их не грабили [Татарина 1958, с. 80].

Усложнение структуры общества и появление многочисленных групп со своими ярко выраженными интересами не позволило Кромвелю, в отличие от Франческо Сфорца в Милане и Козимо Медичи во Флоренции XV века, передать власть сыну. В конечном счете английское общество пришло к компромиссу, выразившемуся в реставрации Стюартов. «Реставрация короля, палаты лордов и епископата была осуществлена в интересах торговли, собственности и социальной стабильности» [Hill 1980, p. 26].

¹⁴ Пуритане считали Англию вторым Израилем, а англичан — народом, который Бог специально избрал для выполнения особой миссии [Травин 2016, с. 195].

Престол в 1660 г. занял Карл II — сын казненного одиннадцатью годами раньше короля. При этом он уже не получил власти абсолютного монарха. «Сходство Англии 1640 и 1660 гг. было иллюзорным. Институты оставались теми же, но социальный контекст изменился» [Ibid., p. 29]. Положение Карла зависело от учета позиции влиятельных групп интересов. Король не имел ни военных, ни политических рычагов для усиления своей власти и превращения ее в абсолютную. Он перестал, по сути, быть монархом в традиционном понимании этого слова и стал лишь «принцем в содружестве (prince in commonwealth)» [Ibid.]. Законодательной властью обладал парламент, причем доминировала в нем палата общин. «Люди теперь считали само собой разумеющимся, что корона — это инструмент парламента, а король — слуга народа» [Татарина 1958, с. 327]. «После Гражданской войны нацию утвердили как главный объект преданности» [Гринфельд 2008, с. 80].

Целая совокупность факторов, определявших специфику исторического пути Англии, сошлась воедино и трансформировала страну. Тем не менее нельзя сказать, что в 1660 г. англичане проснулись вдруг в новой стране. Даже тогда политическая ситуация еще сильно отличалась от современной демократии, при которой король, президент или премьер-министр не могут править без парламента. Значительная часть общества в Англии времен Реставрации полагала, по-видимому, что такое вполне возможно: просто монарх, как в старину, останется без денег (будет «жить на свои»). Когда Карл II в 1681 г. принял решение о роспуске парламента, лишь меньшинство депутатов решило, что надо сопротивляться. Остальные же, испугавшись новой гражданской войны, мирно разошлись по домам [Татарина 1958, с. 375]. Англия на несколько лет погрузилась в старые времена.

Никто не хотел умирать. Никто не хотел возвращения в «лихие 1650-е» с кровавыми стычками, бандитизмом и диковатыми пуританами. Английское общество желало жить по новым правилам, но не погибать за идею (и в этом наше нынешнее российское общество очень на него похоже). Реставрация стала эпохой, когда страна наслаждалась сравнительно спокойной жизнью, сменившей эпоху революционной нестабильности. Некоторые современники даже отмечали, что собственность теперь защищена и не может быть изъята без согласия народных избранных [Пинкус 2017, с. 152]. Былая бескомпромиссная борьба за идеи обернулась простым и порой довольно циничным стремлением к собственному преуспеванию. Карл II Стюарт правил по принципу «Живи сам и жить давай другим», стимулируя подданных интересоваться не политикой,

а личным благосостоянием, поскольку мир вообще, как он полагал, управляется именно личными интересами [Кут 2004, с. 222–223, 427].

Народ с радостью откликнулся на эту инициативу. Былое стремление пуритан к высокой духовности стало вдруг немодным. Идеалы непреклонных борцов за чистоту нравов обернулись пошлостью. «Распутство приняло форму пьянства в сочетании с развратом» [там же, с. 323]. Ценности потребления стали вытеснять религиозные ценности. Типичным героем той эпохи можно назвать Робинзона Крузо, вспомнившего про Господа лишь на необитаемом острове после серии долгих мытарств, которые ему пришлось претерпеть в жизни [Дефо 2010]¹⁵.

«Если еще в конце XVI и начале XVII веков розничные торговцы считались людьми сомнительной морали, к концу 1600-х магазины и их владельцы воспринимались как необходимая часть внутренней экономики» [Пинкус 2017, с. 111]. Англичане теперь меньше интересовались происхождением или вероисповеданием друг друга, зато про незнакомо-го человека сразу спрашивали, богат ли он [Уолер 2003, с. 39]. Про женщин той эпохи шутили, что они ходят в церковь только тогда, когда муж дарит им новое платье (пару раз в год или чуть чаще), — людей посмотреть, себя показать и посмеяться над теми, кто ходит, чтоб помолиться Богу [там же, с. 180–181]. Безнравственность получила столь широкое распространение, что, когда к власти после Славной революции пришли Вильгельм Оранский и его супруга Мария, появилось даже специальное монаршее воззвание к нации, направленное на предотвращение падения нравов [там же, с. 338].

Процветала коррупция. Например, высокопоставленный чиновник Адмиралтейства Сэмюэль Пипс откровенно рассказывает в своем дневнике 1660-х гг. о взятках и откатах, которые ему предлагали подрядчики — поставщик древесины, изготовитель флагов, корабельный кузнец. И хотя брал он не всегда и не со всех, именно взятками, по всей видимости, намеревался Пипс скопить большую сумму денег, которую в полном соответствии с докапиталистической этикой планировал потратить не на инвестиции в какой-нибудь собственный бизнес, а на приобретение рыцарства и на соответствующий ему образ жизни [Пипс 2016, с. 156–167].

Размер откатов, насколько можно судить, был очень велик. Во всяком случае, одна дореволюционная история, относящаяся к 1635 г., по-

¹⁵ Вообще, весь роман Даниэля Дефо несет в себе скепсис в отношении нравов «новых англичан» — непоседливых торговцев, любящих мотаться на кораблях по всему свету, стремящихся выгадать грош и не чтущих традиции своих отцов.

казывает, что у простоватого джентльмена, имевшего претензии к казне на 6000 фунтов, выманили 2500 фунтов (более 40 % суммы) якобы для взятки лорду-казначею [Савин 2000, с. 148].

А тем временем экономика процветала. Сошлись воедино различные факторы, способствующие развитию. Финансовая стабильность Елизаветы помогла бизнесу окрепнуть еще в конце XVI века. Прекращение войны с Испанией (1604 г.) позволило английскому торговому флоту свободно осуществлять операции во всех морях. А голландский коммерческий опыт показал, как это нужно делать. Когда завершились еще Тридцатилетняя война (1648 г.) и английская революция (1660 г.), наступил, можно сказать, золотой век торговли: теперь ей ничто не мешало.

К 1630 г. англичане контролировали значительную часть торговли зерном и маслом между Сицилией и Левантом, а также вдоль побережья Италии [Ramsay 1957, p. 49]. Собственный экспорт Англии на 80–90 % состоял из шерстяных тканей, которые пользовались большим спросом по всей Европе [Holderness 1983, p. 120]. «Вся знать и дворянство [во Флоренции] не носили ничего другого или почти ничего, кроме английских тканей» [Пинкус 2017, с. 85].

Тоннаж лондонского порта удвоился в 1640–1680 гг. Таможенные поступления с 1600 по 1700 г. выросли в 10 раз. Помимо тканей и зерна важнейшим фактором успеха стало то, что англичане нашли свою важную нишу в атлантической торговле¹⁶. Появление сахарных плантаций на Барбадосе потребовало рабочей силы, и это породило своеобразный коммерческий треугольник. С плантаций, расположенных в Вест-Индии, вывозили сахар (а впоследствии и табак), снабжая этой продукцией весь Старый свет. Из Европы за океан, а также в Африку, везли промышленные товары. В Африке же по дешевке покупали рабов для вест-индских плантаций. Если в 1660 г. негров на Карибах было 15 тыс., то в 1770 г. — уже 115 тыс. А после успешного завершения войны за испанское наследство англичане стали поставлять рабочую силу для всей Латинской Америки [Hill 1980, p. 36–37; Zahedieh 2010, p. 246].

В Европе той эпохи доминировали двойные стандарты. Борьба за собственную свободу не означала даже для англичан борьбы за повсе-

¹⁶ Историк Стивен Пинкус даже полагает, что «Трансатлантическая торговля дает единственное убедительное объяснение отличию английской линии развития от общеевропейских тенденций XVII века» [Пинкус 2017, с. 130–131]. Это, правда, не объясняет главного: почему именно Англия в отличие от других стран, обращенных к Атлантике, смогла извлечь из такой торговли выгоды.

местное распространение принципа свободы. И даже христианство здесь не помогало. По иронии судьбы первый корабль, который еще во времена Елизаветы занимался работорговлей, звался «Иисус» [Кулишер 1926б, с. 168]¹⁷. А впоследствии даже профессиональные творцы добродетели, такие как, например, «Ассоциация по распространению Евангелия», имели своих рабов в Вест-Индии [Hill 1980, p. 37]. В общем, Петру I, посетившему Англию во время своего знаменитого зарубежного турне, неоткуда было почерпнуть идеи свободы. Рабство тогда считалось нормой, и на нем в значительной степени строился рост экономики.

Какие же уроки на самом деле мог извлечь Петр I из своего путешествия? Мы не можем, естественно, узнать, что было в голове у царя, но, думается, исходя из реалий той эпохи можем сделать вывод, что они примерно следующие.

Во-первых, новый мир, существующий в Голландии и Англии, отличается от старого мира большим числом кораблей. Точно так же сегодня человек, не забивающий голову всякими премудростями, скажет, что наш мир отличается от того, который был раньше, большим числом компьютеров и мобильных телефонов.

Во-вторых, корабли эти отличаются высоким качеством, грузоподъемностью, скоростью передвижения на дальние расстояния. И полезны они тем, что приносят большую коммерческую выгоду. В том числе благодаря работорговле, которая ничем не хуже, чем торговля зерном, вином или шерстью.

В-третьих, работорговля полезна тогда, когда есть колонии, где можно выращивать такие прибыльные товары, как кофе, табак и сахар. Поэтому для процветания государства необходима большая империя, по возможности простирающаяся далеко на юг — в плодородные земли, где все хорошо растет.

В-четвертых, чем больше кофе, табака и сахара потребляет народ, тем выгоднее для торговли. Если на такие товары в силу косности населения и его склонности к следованию старым привычкам нет спроса, то нет и доходов купцов. Значит, дикому народу надо прививать вкус к морским яствам. Порой даже палкой.

В-пятых, процветание торговли полезно для государства тем, что позволяет взимать большой объем налогов, причем с большей легкостью,

¹⁷ Мультиязычный капитан Врунгель, наверное, очень удивился бы, узнав, что его знаменитое выражение «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», мягко говоря, неточно отражало реалии эпохи работорговли.

чем в том случае, когда фискальное бремя пытаешься возложить на крестьянство. А налоги эти служат государю для укрепления армии и военно-морского флота.

В-шестых, армия и флот требуются для того, чтобы можно было вести торговлю и защищать свои корабли от конкуренции со стороны других государств. Для торговли XVIII века требуются, во-первых, выход к морю, который нельзя получить без армии, и, во-вторых, ведение войны с морским соперником, которая невозможна без флота.

В-седьмых, успех в торговле позволяет строить корабли, взимать налоги и т. п.

В-восьмых, для чего в этой системе нужны вольности, сословное представительство и парламенты, непонятно. Точнее, ясно, что для сопротивления тиранической власти, но если монарх в стране мудрый и благонамеренный (каковым Петр, очевидно, считал себя), то всякие свободы совершенно излишни. От них — одно баловство.

В общем, с Голландией и Англией все ясно. Вопросов больше нет. Но остаются вопросы другого типа. Как оптимально собирать налоги? Как сформировать госаппарат, способный управлять финансами и поддерживать коммерцию? Как правильно перекачивать ресурсы на укрепление армии и флота? Опыт XVII века показывал, что ответы на вопросы о строительстве государства и армии надо было искать во Франции и в Швеции. Этим Петр в свое время и занялся.

Но мы пока оставим Петра в сторонке и вернемся к Англии. Завершилась история межеумочного режима Карла II по вполне естественной причине: король помер, а брат его Яков II в силу целого ряда личных особенностей воспроизвести систему уже не смог. Точнее, общество воспроизвело систему, но с другим (трезвомыслящим) монархом. Так называемая Славная революция 1688 г. окончательно утвердила представление, что вернуться в 1640-е гг. уже невозможно.

Революция эта не была одномоментным радикальным переворотом, отделяющим эпоху деспотии от эпохи свободы, но не была она и восстановлением старых мифических традиций свободы. Англия к 1688 г. уже долгое время находилась в состоянии перемен. Ей оставалось выбрать конкретную модель этих перемен — ту, которая в большей степени отвечала ожиданиям общества и сложившейся расстановке сил [Пинкус 2017, с. 23, 52]. При другой расстановке могли бы усилиться те абсолютистские начала, которые доминировали при Людовике XIV во Франции. Но предшествующий исторический путь Англии стимулировал выбор, при котором государство и общество оказались в состоянии равновесия,

что обусловило со временем промышленную революцию и быстрое развитие экономики.

Возможно, самым главным признаком этого равновесия стала правовая система, при которой короне оказалось трудно нарушать права собственности¹⁸. Славная революция привела к несменяемости судей. Раньше они получали свой патент по принципу «пока будет угодно короне», а с 1701 г. судьи остаются в должности до тех пор «пока будут себя хорошо вести», и сняты могут быть лишь по представлению обеих палат парламента [Савин 2000, с. 161]. Конечно, само по себе это не гарантировало беспристрастности суда, но усилило значение местных интересов по сравнению с интересами центра, сводящимися часто лишь к выжиманию денег из экономики для пополнения бюджета и строительства армии.

Еще при Генрихе VIII реформация ослабила «каноническое и римское право как основу регулирования общественных отношений в Британии и укрепила роль традиционного и прецедентного права, которое состояло из решений, выносившихся учеными судьями в прошлом и собранных вместе как руководство для решения судей в настоящем» [Голдстоун 2014, с. 193–194]. Но при Тюдорах и при Стюартах корона находила возможность давить на политических противников, либо вообще минуя суды, либо воздействуя на самих судей. В частности, Стюарты использовали особый королевский суд — так называемую Звездную палату, где дела решались тайно по воле монарха. Но в ходе революций Звездная палата оказалась ликвидирована и верховенство общего права было восстановлено [там же, с. 194–195]. В отличие от ситуации, сложившейся на континенте, государственный служащий перестал влиять в Англии на процесс, в то время как «обычные люди, которые находились в жюри, выносили решения относительно обстоятельства дела и исхода судебного разбирательства» [там же, с. 195].

Тем не менее формирование институтов, благоприятствующих развитию, вовсе не было формированием институтов, обеспечивающих социальную справедливость. Думается, можно говорить лишь о содействии интересам бизнеса. Это видно, в частности, по тому, как шло огораживание общинных земель в XVIII веке. Если в XVI столетии это был откровенный захват общинных земель, то теперь существовала четкая процедура, обязательная для соблюдения. Но процедура эта предпо-

¹⁸ Исключение – Ирландия, где в условиях непрекращающегося конфликта католиков с протестантами нормальная правовая система, защищающая права собственников и арендаторов, не сложилась до XIX века [Бетелл 2008, с. 329–346].

лагала решения в интересах крупных собственников. Мелким же порой делали предложения (в духе крестного отца Вито Корлеоне), от которых нельзя отказаться, и они вынужденно соглашались на раздел. Осуществляли его комиссары, которые обычно находились под влиянием местных авторитетов [Манту 1937, с. 130–133]. Йомены, оказавшиеся в сложном положении, постепенно стали менять специализацию. «Так, дед сэра Роберта Пиля (премьер-министра XIX века, при котором были отменены протекционистские хлебные законы. — *Д. Т.*) первоначально был йоменом, обрабатывавшим свой участок земли, но, обладая изобретательным умом, он принялся за хлопчатобумажную мануфактуру и набивку» [Тойнби 2011, с. 79].

Альтернативный институциональному подход к объяснению причин английского успеха (и промышленной революции, в частности) предложил американский историк экономики Роберт Аллен. Он считает, что после Славной революции институты в Англии отнюдь не стали лучше и что во Франции они были в то время явно не хуже. Аллен разъясняет причины бурных технических перемен, случившихся именно в Англии, при помощи чисто экономических методов, т. е. не уделяя внимания переменам в политической системе и в работе судебной системы.

Главные изменения, обусловившие промышленную революцию, произошли, с его точки зрения, еще до Славной революции. Поскольку английская внешняя торговля быстро росла уже в XVI–XVII веках — сначала только как европейская, а затем и как заокеанская, — рос, соответственно, спрос на труд. Расширяющемуся бизнесу требовались рабочие руки. Это, в свою очередь, обусловило (при сравнительно невысокой рождаемости) рост зарплат. По оценке Аллена, английские зарплаты стали самыми высокими в Европе. И неудивительно, что при таком положении дел бизнесу оказалось выгодно в конечном счете замещать труд техникой. Исходным же фактором, повлиявшим на перемены, Аллен считает экологию, поскольку именно расширение пастбищ и улучшение питания овец в XIV–XV веках лежали в основе роста конкурентоспособности английской шерсти и, соответственно, расширения ее экспорта. А в XVIII веке большое значение для механизации промышленности имела еще дешевизна английского угля [Аллен 2014, с. 185–186, 189–191, 203].

Представленное Алленом объяснение выглядит логично, но скорее все же дополняет институциональный подход, чем опровергает его. Высокие зарплаты и дешевый уголь, конечно, важны, но существуют ли доказательства того, что при несколько менее высоких зарплатах и несколько более дорогом угле в других местах Европы технические

инновации в XVIII веке оказывались уже невыгодны? Если в других местах соотношение факторов было менее благоприятно, то это вовсе не значит, что инновации станут убыточны. Вполне возможно, что они будут прибыльны, но просто с менее высокой рентабельностью, чем в Англии. Именно так, по оценке самого Аллена, обстояло дело с самопрялкой «Дженни»: во Франции она тоже была рентабельна, хоть и не могла давать высокую доходность [там же, с. 283].

Историк хлопковой промышленности Свен Беккерт показывает, что технические новшества очень быстро распространялись из Англии по всей Европе [Беккерт 2018, с. 237–240]. Вряд ли это бы произошло, если бы низкая зарплата делала более выгодным ручной труд. Другое дело, что масштабы механизации в Англии были на порядок выше, чем на континенте. А это различие явно носит институциональный характер. Отдельные «маяки капитализма» вполне возможны в странах с плохими институтами, поскольку бизнес там строится на личных договоренностях с властями, на взятках, на откатах, на преференциях для «своих» (сегодняшняя Россия это четко показывает). Но лидерство в инновациях возможно лишь в стране с благоприятными для развития институтами, какой после Славной революции была именно Англия. Только соблазнительный пример лидера стимулирует развитие в неблагоприятных институциональных условиях и заставляет бизнес договариваться с властями о таких инновациях, о которых без зарубежного примера и говорить бы не стали.

В общем, можно сказать, что новые институты, постепенно формировавшиеся в Англии и по-настоящему оформившиеся после Славной революции, стали важнейшим фактором, обусловившим возникновение промышленной революции. Но она все же не состоялась бы без некоторых важных изменений, которые были характерны для западного мира в целом. В первую очередь следует отметить, что XVII век стал эпохой научной революции, произошедшей в Европе. Люди перестали смотреть на мир как на нечто, раз и навсегда данное нам в неизменном виде. Они стали экспериментировать, стремиться к открытию нового, отказываться от веками складывавшихся традиций. Или, точнее, к новому стали стремиться элиты (тогда как широкие массы населения еще долго жили именно старыми традициями), но этого оказалось достаточно для существенного преобразования мира.

В прошлом человечество тоже, конечно, не стояло на месте, но продвижение вперед осуществлялось малыми шагами, причем каждый новатор или реформатор рисковал оказаться в остром конфликте с массами и властителями их дум. «Чем сильнее неприязнь к изменению существу-

ющего экономического порядка, тем меньше вероятность того, что в данной экономике сложится климат, благоприятный для технического прогресса» [Мокир 2014, с. 241]. Поэтому новшества появлялись не благодаря, а, скорее, вопреки сложившимся институтам. «Движителем технического прогресса служили новые идеи и предложения, возникавшие если не случайно, то как минимум совершенно непредсказуемо» [там же, с. 238]. Даже в XVI веке в ведущих коммерческих городах Европы изобретателей порой репрессировали для того, чтобы не подрывать социальную стабильность [там же, с. 282].

Но в ходе научной революции в некоторых европейских странах все пошло совсем по-другому. Изобретатели получили относительную свободу творчества, их достижениями стали интересоваться, и, самое главное, многие люди начали мыслить, как они. Даже не имея способностей самостоятельно что-то изобрести, люди стали глядеть на мир как на находящийся в постоянном процессе изменений.

Сама по себе научная революция, при всем ее огромном значении, не могла модернизировать экономику. Эпоха непосредственной связи науки с производством пришла значительно позже. Однако косвенным образом эта революция на экономику сильно повлияла, поскольку деловые круги стали иначе смотреть на возможности решения своих коммерческих проблем. Они начали искать принципиально новые подходы, в том числе в области техники. Повышение производительности труда с помощью изобретения стало рассматриваться как вполне нормальное, а не порицаемое, явление. И даже как образец, к которому следует стремиться.

На этом фоне в Англии XVIII века стало развиваться явление, которое Джоэль Мокир назвал промышленным просвещением. Инженеры и опытные техники часто взаимодействовали с учеными, перенимали их опыт работы, слушали лекции, читали публикации, общались в кофейнях. «Возникла “открытая наука”, знания о мире природы во все большей степени становились общедоступными, а широкая публика бесплатно знакомилась с научными достижениями и открытиями» [Мокир 2012, с. 56]. И особенно важно, что научно-технические знания перестали быть низкой материей, которой могут интересоваться лишь мастеровые да редкие чудачки из порядочной публики. «Цивилизованный средний класс усвоил представление о том, что усовершенствования и прогресс — темы респектабельные и даже престижные. Размышления и беседы о таких приземленных материях, как машины и химикалии, стали считаться приличествующими джентльмену, что, соответственно, облагораживало и тех, кто работал с ним» [Мокир 2017, с. 96].

Сама по себе научная революция развивалась не только в Англии, но и на континенте, где, возможно, жило даже больше ведущих ученых и делалось больше открытий. Но связь науки с практикой в английской среде оказалась теснее. «Как отмечал в 1766 г. побывавший в Великобритании швейцарский промышленник Жан Риине, чтобы довести какую-то вещь до совершенства, надо изобрести ее во Франции, а затем поработать над ней в Англии» [там же, с. 176].

Ну и наконец, важный фактор развития, характерный для западного мира в целом, но сработавший именно в Англии, — это обретение колоний. Если Испания, обладавшая самыми большими колониями, использовала их прежде всего для добычи благородных металлов, то Англия сделала свои заокеанские территории частью новой промышленной системы. Некоторые американские колонии Англии стали выращивать хлопок, представлявший собой сырье для хлопчатобумажного производства — важнейшей основы промышленной революции. Как показывают оценки Кеннета Померанца, промышленное развитие не могло быть осуществлено без колониального хлопка на базе старого европейского сырья либо из-за отсутствия технических возможностей для переработки льна и пеньки, либо по причине нехватки земли для развития овцеводства, дающего шерсть [Померанц 2017, с. 463–464].

В 1758 г. первые суда с хлопком прибыли в Ливерпуль с Ямайки. Резкий рост поступлений сырья с карибских островов пришелся на 1780-е гг. Причем не только с британских, но и с французских. В XIX в. стала расти роль Бразилии. Впоследствии крупнейшим экспортером хлопка стали США [Беккерт 2018, с. 84, 158–160, 165, 182].

Таким образом, суммируя все, сказанное выше, можно отметить, что английский бизнес осуществил промышленную революцию¹⁹ непосредственно потому, что высокие зарплаты рабочих стимулировали инновации. Но инновации не были бы возможны столетием раньше, когда еще не сказалось влияние научной революции на умы образованной публики. Инновации были бы бессмысленны при отсутствии доступа к заокеанскому хлопку и местному дешевому углю. И, last, but not least, при плохих институтах инновации в отдельных местах, наверное, осуществились бы, но массовым явлением не стали, поскольку невыгодны были бы бизнесу.

¹⁹ Техническая сторона промышленной революции хорошо описана [Аллен 2014; Манту 1937; Мокир 2014; Лилли 1970] и не нуждается в дополнительном изложении.

И еще небольшая ремарка: каково было воздействие на экономику протекционизма, прежде всего Навигационного акта 1651 г., создававшего преференции в торговле для английских судов? Скорее всего, он способствовал развитию коммерции в Англии, поскольку голландские корабли были эффективнее и могли побеждать в конкурентной борьбе. Недаром акт спровоцировал англо-голландские войны. Но если говорить о долгосрочном промышленном развитии, то вряд ли протекционизм был эффективен. Ведь искусственное вытеснение конкурентов, способных осуществлять дешевые поставки рабочей силы на плантации и сырья на фабрики, удорожало конечную продукцию и сдерживало масштабы производства.

Итак, мы рассмотрели развитие Англии на долгом историческом пути. Подводя итог исследованию, стоит привести ряд перекликающихся цитат из книг ведущих авторов, занимающихся исторической социологией (курсив далее мой. — *Д. Т.*). «Тот факт, что в Славной революции 1688 года одержали победу общественные группы, выступавшие за ограничение королевской власти и больший плюрализм политических институтов, не только не был предопределен — он просто стал результатом удачного *стечения обстоятельств*», — отмечали Аджемоглу и Робинсон [Аджемоглу, Робинсон 2015, с. 153]. «К описанным здесь событиям привело поразительное *стечение обстоятельств*», — констатирует Джоэль Мокир, подробно проанализировав британскую промышленную революцию [Мокир 2017, с. 747]. Ему вторит Джек Голдстоун: «Развитие современного экономического роста в Британии следует считать *случайным процессом* — чем-то, что не было неизбежным и могло вовсе не произойти» [Голдстоун 2014, с. 290]. «Все долгосрочные изменения были *неожиданными*, агенты этих изменений были капиталистами поневоле» — делает вывод Ричард Лахман применительно не только к Британии, но вообще к формированию капитализма [Лахман 2010, с. 30]. «А если бы Габсбурги или турки объединили Европу в XVI веке, то, *может* быть, промышленной революции *не произошло бы*», — добавляет Иэн Моррис, полагая, что клерикальные, консервативные силы задавили бы тот прогресс, который вследствие комплекса обстоятельств произошел на северо-западе Европы [Моррис 2016, с. 447]. Даже авторы, полагающие, что возвышение Запада произошло намного раньше XVII–XVIII веков, подчеркивают случайный характер трансформации [Лал 2007, с. 204].

Слово «случайность» не следует здесь понимать упрощенно. Речь идет не о внезапно случившейся «прухе» типа высоких цен на ресурсы. Ни Испании в XVI–XVII веках, ни современной России такая случайность не помогла. Речь идет о сочетании целого комплекса событий, случившихся с Англией на долгом историческом пути. Даже Аллен, критикующий институционалистов, говорит об этом: «Британская промышленная революция представляет собой развитие технологий по определенной траектории. Это была траектория, зависящая от предыдущего пути, в которой каждый шаг объясняется (хотя бы отчасти) предыдущим шагом [Аллен 2014, с. 205]. В общем, не окажись в наличии какого-то из важных обстоятельств — результат был бы иной. Поэтому доскональное изучение этого исторического пути является единственным способом объяснения причин английского успеха.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015.

Аллен Р. Глобальная экономическая история. Краткое введение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.

Аллен Р. Британская промышленная революция в глобальной картине мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

Андерсон М. Петр Великий. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

Анисимов Е. Время петровских реформ. Л.: Лениздат, 1989.

Арриги Д. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006.

Байрон Д. Дон-Жуан. // Байрон Д. Собр. соч.: в 4 тт. Т. 1. М.: Правда, 1981.

Барг М., ред. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М.: Наука, 1986.

Барг М. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М.: Мысль, 1991.

Беккерт С. Империя хлопка. Всемирная история. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.

Беттел Т. Собственность и процветание. М.: ИРИСЭН, 2008.

Браун Е. Войны Роз: История. Мифология. Историография. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.

Бурова И. Две тысячи лет истории Англии. СПб.: Бельведер; Гуманитарная академия, 2001.

Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 3. М.: Прогресс, 1992.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. М.: Издание Т. Солдатенкова, 1885.

Голдстоун Д. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

Голдстоун Д. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

Грин Д. История Англии и английского народа. М.: Кучково поле, 2018.

Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008.

Гутнова Е. Возникновение английского парламента. (Из истории английского общества и государства XIII века). М.: МГУ, 1960.

Данцигер Д., Гиллингем Д. Год Великой Хартии Вольностей. СПб.: Александрия; Симпозиум, 2009.

де Фрис Я. Революция трудолюбия: потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.

Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, морехода из Йорка. М.: РИМИС, 2010.

Дубнов С. Учебник еврейской истории для школы и самообразования. Ч. III. Средние века и Новое время в Европе. СПб.: Типография «Общественная польза», 1911.

Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава: Научное издательство ПВН, 1995.

Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М.: РОСПЭН, 2001.

Канфора Л. Демократия. История одной идеологии. СПб.: Alexandria, 2012.

Капелюшников Р. Гипноз Вебера (заметки о «Протестантской этике и духе капитализма»). Препринт WP3/2018/01. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.

Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия Средних веков: Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе в Средние века. М.: ЛЕНАНД, 2015.

Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.

- Клаут Х.* История Лондона. М.: Весь мир, 2002.
- Ключевский В.* Курс русской истории. Часть III // Ключевский В. Сочинения: в 9 тт. Т. III. М.: Мысль, 1988.
- Контлер Л.* История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М.: Весь мир, 2002.
- Кром М.* Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- Кузнецов Е.* Экономическое развитие Англии в XIV–XV вв. Горький: ГГУ, 1981.
- Кулишер И.* История экономического быта Западной Европы. Т. 1. М.; Л.: Государственное изд-во, 1926а.
- Кулишер И.* История экономического быта Западной Европы. Т. 1. М.; Л.: Государственное изд-во, 1926б.
- Курбатов О.* Военная история русской Смуты начала XVII века. М.: Квадрига, 2014.
- Кут С.* Августейший мастер выживания. Жизнь Карла II. М.: АСТ; Ермак, 2004.
- Лал Д.* Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. М.: ИРИСЭН, 2007.
- Лахман Р.* Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Территория будущего, 2010.
- Лилли С.* Люди, машины, история. История орудий труда и машин в ее связи с общественным прогрессом. М.: Прогресс, 1970.
- Локк Д.* Два трактата о правлении. М.; Челябинск: Социум, 2014.
- Лоудз Д.* Генрих VIII и его королевы. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
- Мавродин В.* Рождение новой России. Л.: ЛГУ, 1988.
- Мак Г.* Нидерланды. Каприз истории. М.: Весь мир, 2013.
- Малиа М.* Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 2015.
- Манту П.* Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1937.
- Мокир Д.* Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
- Мокир Д.* Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
- Мокир Д.* Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700–1850 гг. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.
- Мор Т.* Утопия. М.: Изд-во АН СССР, МСМXLVII.
- Морган К.* История Великобритании. М.: Весь мир, 2008.

Моррис И. Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем. М.: Карьера Пресс, 2016.

Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

Петрушевский Д. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII в. М.; Челябинск: Социум, 2016.

Пинкус С. 1688 год. Первая современная революция. М.: АСТ, 2017.

Пипс С. Домой, ужинать и в постель. Из дневников. СПб.: Азбука, 2016.

Пиренн А. Средневековые города Бельгии. СПб.: Евразия, 2001.

Пискорский В. Кастильские кортесы (сословные собрания) в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени (1188–1520). М.: Либроком, 2012.

Покровский М. Очерк истории русской культуры. Экономический строй: от первобытного хозяйства до промышленного капитализма. Государственный строй: обзор религии права и учреждений. М.: Либроком, 2010.

Полдников Д. Великая хартия вольностей 1215 г.: история и современность // Петрушевский Д. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII в. М.; Челябинск: Социум, 2016.

Померанц К. Великое расхождение. Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.

Полсен Ч. Английские бунтари. М.: Прогресс, 1987.

Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.

Савин А. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000.

Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996.

Соловьев С. История России с древнейших времен. Кн. IV. Т. 7–8 // Соловьев С. Сочинения: в 18 кн. М.: Мысль, 1989.

Сюами А. Елизаветинская Англия. М.: Вече, 2016.

Татаринова К. Очерки по истории Англии. 1640–1815 гг. М.: ИМО, 1958.

Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. М.: Либроком, 2011.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй). Препринт М-31/13. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад третий). Препринт М-38/14. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад четвертый). Препринт М-45/15. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Травин Д. Просуществует ли путинская система до 2042 года? СПб.: Норма, 2016.

Травин Д. Модернизация и реформация. Препринт М-60/17. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2011.

Треvelьян Д. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск: Русич, 2005.

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М.: Весь мир, 2004.

Уолер М. Лондон. 1700 год. Смоленск: Русич, 2003.

Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2003.

Хэммонд П. Ричард III и битва при Босуорте. СПб.; М.: Евразия; Клио, 2014.

Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М.: Центрполиграф, 2011.

Черепнин Л. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М.: Языки славянской культуры, 2015.

Черчилль У. Британия в Новое время (XVI–XVII вв.). Смоленск: Русич, 2006.

Шмидт С. У истоков российского абсолютизма: исследование социально-политической истории времен Ивана Грозного. М.: Прогресс-культура, 1996.

Штокмар В. История Англии в Средние века. СПб.: Алетейя, 2005.

Эриксон К. Мария Кровавая. М.: АСТ, 2002.

Эриксон К. Елизавета I. М.: АСТ, 2003.

Эшли У. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М.: тип. А. Г. Кольчугина, 1897.

Янов А. Россия и Европа. 1462–1921: в 3 кн. Кн. 1. Европейское столетие России. 1480–1560. М.: Новый хронограф, 2008.

Cater N., Grennan S., Bell V., Brown N. Magna Carta: Aftermath and Reappraisal. Melbourne, October 2015.

Clarkson L. The Pre-Industrial Economy in England, 1500–1750. London: B. T. Batsford LTD, 1972.

Davis R. The Rise of the Atlantic Economies. Itaka, New York: Cornell University Press, 1973.

de Vries J. European Urbanization, 1500–1800. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.

de Vries J., van der Woude A. The First Modern Economy. Success, failure and perseverance of the Dutch economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Gillingham J. The Wars of The Roses. Peace and Conflict in 15th Century England. London: Phoenix Press, 2001.

Given-Wilson C. The English Nobility in the Late Middle Ages. The Fourteenth-Century Political Community. London and New York: Routledge, 1996.

Hicks M. The Wars of The Roses. New Haven, London: Yale University Press, 2012.

Hill C. The English Revolution. London: Lawrence & Wishart LTD, 1955.

Hill C. Intellectual Consequences of the English Revolution. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1980.

Hill C. Intellectual Origins of The English Revolution. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Holderness B. Pre-Industrial England. Economy and Society. 1500–1750. London: J. M. Dent & Sons LTD, 1983.

Holt J. Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press, 1992

Israel J. The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Israel J. Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740. Oxford: Clarendon Press, 2002.

Lander J. The Wars of The Roses. London: White Lion Publisher, 1974.

Linebaugh P. The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2008.

Manning B. The English People and the English Revolution, 1640–1649. London: Heinemann, 1976.

Palmer M. Henry VIII. London: Longman Group LTD, 1971.

Ramsay G. Overseas Trade During the Centuries of Emergence. London: Macmillan & Co LTD, 1957.

Rex R. Henry VIII and the English Reformation. New York: Palgrave Macmillan, 1993.

van Houtte J. An Economic History of the Low Countries. 800–1800. London: Weidenfeld and Nicolson, 1977.

Zahedieh N. The Capital and the Colonies. London and the Atlantic Economy, 1660–1700. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Дмитрий Травин

**Англия: история успеха
(Россия Нового времени: выбор варианта модернизации.
Доклад 1)**

Препринт М-67/18

В авторской редакции
Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1

books@eu.spb.ru

Подписано в печать 19.09.18.

Формат 60x88 1/16. Тираж 50 экз.



**Центр исследований модернизации
Европейского университета в Санкт-Петербурге**

Книги, подготовленные сотрудниками М-Центра:

Травин Д., Маргания О. **ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ**,
в 2 кн. М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2004.

Маргания О.Л., ред. **СССР ПОСЛЕ РАСПАДА**. СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.

Добронравин Н., Маргания О., ред. **НЕФТЬ, ГАЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**.
СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008.

Gel'man V., Marganiya O., eds. **RESOURCE CURSE AND POST-SOVIET EURASIA:
OIL, GAS, AND MODERNIZATION**. Lanham, MD: Lexington Books, 2010.

Травин Д. **ОЧЕРКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ. КНИГА ПЕРВАЯ: 1985–1999**.
СПб.: Норма, 2010.

Гельман В., Маргания О., ред. **ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ: ТРАЕКТОРИИ, РАЗВИЛКИ, ТУПИКИ**.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

Травин Д., Маргания О. **МОДЕРНИЗАЦИЯ: ОТ ЕЛИЗАВЕТЫ ТЮДОР ДО ЕГОРА ГАЙДАРА**.
М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2011.

Гельман В. **ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ СССР**.
СПб.: БХВ-Петербург, 2013.

Добронравин Н. **МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОЧИНЕ: ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**. СПб.: Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Стародубцев А. **ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРЫВАТЬ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И
ФЕДЕРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**. СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2014.

Заостровцев А. **О РАЗВИТИИ И ОТСТАЛОСТИ: КАК ЭКОНОМИСТЫ ОБЪЯСНЯЮТ
ИСТОРИЮ**. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.

Gel'man V., Travin D. & Marganiya O. **REEXAMINING ECONOMIC AND POLITICAL REFORMS
IN RUSSIA, 1985–2000: GENERATIONS, IDEAS, AND CHANGES**.
Lanham, MD: Lexington Books, 2014.

Gel'man V. **AUTHORITARIAN RUSSIA: ANALYZING POST-SOVIET REGIME CHANGES**. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 2015.

Травин Д. **КРУТЫЕ ГОРКИ XXI ВЕКА: ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ**.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Тарасенко А. **НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ**.
СПб.: НОРМА, 2015.

Травин Д. **ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПУТИНСКАЯ СИСТЕМА ДО 2042 ГОДА?** СПб.: НОРМА, 2016.

Травин Д., Гельман В., Заостровцев А. **РОССИЙСКИЙ ПУТЬ: ИДЕИ, ИНТЕРЕСЫ, ИНСТИТУТЫ,
ИЛЛЮЗИИ**. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.